Метаморфозы, или Золотой осел

Автор:
Луций Апулей

Метаморфозы, или Золотой осел

Луций Апулей

Петроний Арбитр

«Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея – единственный латинский роман, дошедший до нас целиком. Удивительная история любопытного Луция, питавшего неумеренную склонность к чудесному и по случайности обращенного в осла. «Золотой осел» стал первым европейским плутовским романом, положившим начало новому направлению, позже продолженному Кеведо, Рабле, Боккаччо, Сервантесом и многими другими.

В издание также включен авантюрный роман «Сатирикон» Петрония – увлекательные приключения трех молодых людей, скитающихся по свету.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Метаморфозы, или Золотой осел (сборник)

Книга иллюстрирована офортами из французского издания Les Metamorphoses ou L'?ne d'or d’Apulee. – Paris: Jean-Fran?ois Bastien, 1787.

* * *

Апулей

Метаморфозы, или Золотой осел

Книга первая

1. Вот я сплету тебе на милетский манер разные басни, слух благосклонный твой порадую лепетом милым, если только соблаговолишь ты взглянуть на египетский папирус, исписанный острием нильского тростника; ты подивишься на превращения судеб и самых форм человеческих и на их возвращение вспять тем же путем, в прежнее состояние. Я начинаю. «Но кто он такой?» – спросишь ты. Выслушай в двух словах.

Аттическая Гиметта, Эфирейский перешеек и Тенара Спартанская, земли счастливые, навеки бессмертие стяжавшие еще более счастливыми книгами, – вот древняя колыбель нашего рода. Здесь овладел я аттическим наречием, и оно было первым завоеванием моего детства. Вслед за тем прибыл я, новичок в науках, в столицу Лациума и с огромным трудом, не имея никакого руководителя, одолел родной язык квиритов.

Вот почему прежде всего я умоляю не оскорбляться, если встретятся в моем грубом стиле чужеземные и простонародные выражения. Но ведь само это чередование наречий соответствует искусству мгновенных превращений, а о нем-то я и собрался написать. Начинаем греческую басню. Внимай, читатель, будешь доволен.

2. Я ехал по делам в Фессалию, так как мать моя родом оттуда, и семейство наше гордится происхождением от знаменитого Плутарха через племянника его Секста-философа. Ехал я на местной ослепительно белой лошади, и когда, миновав горные кручи, спуски в долины, луга росистые, поля возделанные, она уже притомилась и я, от сидения уставший, не прочь был размять ноги, – я спешился. Я тщательно листьями отираю пот с лошади, по ушам ее поглаживаю, отпускаю узду и шажком ее проваживаю, пока она усталый желудок обыкновенным и естественным образом не облегчит. И покуда она, наклонив

голову набок, искала пищи по лугу, вдоль которого шла, я присоединяюсь к двум путникам, которые шли впереди меня на близком расстоянии, и покуда я слушаю, о чем идет разговор, один из них, расхохотавшись, говорит:

– Уволь от этих басен, таких же нелепых, как и пустых.

Встреча Аристомена с путниками по дороге в Фессалию

Услышав это, я, жадный до всяких новостей, говорю:

– Напротив, продолжай! Разрешите и мне принять участие в вашем разговоре: я не любопытен, но хочу знать если не все, то как можно больше, к тому же приятный и забавный рассказ облегчит нам этот крутой подъем.

3. Тот, кто начал, отвечает:

– Э! Все эти выдумки так же похожи на правду, как если бы кто стал уверять, будто магическое нашептывание заставляет быстрые реки бежать вспять, море – лениво застыть, ветер – лишиться дыханья, солнце – остановиться, луну – покрыться пеной, звезды – сорваться, день – исчезнуть, ночь – продлиться!

Тогда я говорю увереннее:

– Пожалуйста, ты, который начал рассказ, доканчивай его, если тебе не лень и не надоело. – Потом к другому: – Ты же, заткнув уши и заупрямившись, отвергаешь то, что может быть истинной правдой. Клянусь Геркулесом, ты даже понятия не имеешь, что только предвзятые мнения заставляют нас считать ложным то, что ново слуху, или зрению непривычно, или кажется превышающим наше понимание; если же посмотреть повнимательнее, то обнаружишь, что это все не только для соображения очевидно, но и для исполнения легко.

4. Вот вчера вечером едим мы с товарищами пирог с сыром наперегонки, и хочу я проглотить кусок чуть побольше обычного, как вдруг кушанье, мягкое и

липкое, застревает в горле: до того у меня в глотке дыханье сперло – чуть не умер. А между тем недавно в Афинах, у Пестрого портика, я собственными глазами видел, как фокусник глотал острием вниз преострейший меч всадника. Вслед за тем он же за несколько грошей охотничье копье смертоносным концом воткнул себе в кишки. И вот на окованное железом древко перевернутого копья, из горла фокусника торчавшего, на самый конец его, вскочил миловидный отрок и, к удивлению нас всех присутствовавших, стал извиваться в пляске, словно был без костей и без жил. Можно было принять все это за узловатый жезл бога врачевания с полуотрубленными сучками, который обвила любовными извивами змея плодородия. Но полно! Докончи, прошу тебя, товарищ, историю, что начал. Я тебе один за двоих поверю и в первой же гостинице угощу завтраком; вот какая награда тебя ожидает.

5. А он ко мне:

– Что предлагаешь, считаю справедливым и хорошим, но мне придется начать свой рассказ сызнова. Прежде же поклянусь тебе Солнцем, этим всевидящим божеством, что рассказ мой правдив и достоверен. Да у вас обоих всякое сомнение пропадет, как только вы достигнете ближайшего фессалийского города: там об этой истории только и разговору, ведь события происходили у всех на глазах. Но наперед узнайте, откуда я и кто таков. Меня зовут Аристомен, и родом я с Эгины. Послушайте также, чем я себе хлеб добываю: Фессалию, Этолию и Беотию в разных направлениях объезжаю с медом, сыром или другим каким товаром для трактирщиков. Узнав, что в Гипате, крупнейшем из городов Фессалии, продается по очень сходной цене отличный на вкус, свежий сыр, я поспешил туда, собираясь закупить его весь оптом. Но, как часто бывает, в недобрый час я отправился, и надежды на барыш меня обманули: накануне все скупил оптовый торговец Луп. Утомленный напрасной поспешностью, направился я было с наступлением вечера в бани.

6. Вдруг вижу я товарища моего, Сократа! Сидит на земле, дрянной, изорванный плащ только наполовину прикрывает его тело; почти другим человеком стал: бледность и жалкая худоба до неузнаваемости его изменили, и сделался он похож на тех пасынков судьбы, что на перекрестках просят милостыню. Хотя я его отлично знал и был с ним очень дружен, но, видя его в таком состоянии, я усомнился и подошел поближе.

– Сократ! – говорю. – Что с тобой? Что за вид? Что за плачевное состояние? А дома тебя давно уже оплакали и по имени окликали, как покойника! Детям

твоим, по приказу верховного судьи провинции, назначены опекуны; жена, помянув тебя как следует, подурневши от непрестанной скорби и горя, чуть не выплакавши глаз своих, уже слышит от родителей побуждения увеселить несчастный дом радостью нового брака. И вдруг ты оказываешься здесь, к нашему крайнему позору, загробным выходцем!

– Аристомен, – ответил он, – право же, не знаешь ты коварных уловок судьбы, непрочных ее милостей и все отбирающих превратностей. – С этими словами лицо свое, давно уже от стыда красневшее, заплатанным и рваным плащом прикрыл, так что оставшуюся часть тела обнажил от пупа до признака мужественности. Я не мог дольше видеть такого жалкого зрелища нищеты и, протянув руку, помог ему подняться.

7. Но тот, как был с покрытой головой:

– Оставь, – говорит, – оставь судьбу насладиться досыта трофеем, который сама себе воздвигла.

Я заставляю его идти со мною, немедленно одеваю или, вернее сказать, прикрываю наготу его одной из двух своих одежд, которую тут же снял с себя, и веду в баню; там мази и притиранья сам готовлю, старательно соскребаю огромный слой грязи и, вымыв как следует, сам усталый, с большим трудом его, утомленного, поддерживая, веду к себе, постелью грею, пищей ублажаю, чашей подкрепляю, рассказами забавляю.

Уж он склонился к разговору и шуткам, уж раздавались остроты и злословие, пока еще робкое, как вдруг, испустив из глубины груди мучительный вздох и хлопнув яростно правой рукою по лбу:

– О, я несчастный! – воскликнул он. – Предавшись страсти к гладиаторским зрелищам, уже достаточно прославленным, в какие бедствия впал я! Ведь, как ты сам отлично знаешь, приехав в Македонию по прибыльному делу, которое задержало меня там месяцев на девять, я отправился обратно с хорошим барышом. Я был уже недалеко от Лариссы (по пути хотел я на зрелищах побывать), когда в уединенном глубоком ущелье напали на меня лихие разбойники. Хоть дочиста обобрали – однако спасся. В таком отчаянном положении заворачиваю я к старой, но до сих пор еще видной собою кабатчице Мерое. Ей я рассказываю о причинах и долгой отлучки из дому, и страхов на

обратном пути, и злосчастного ограбления. Она приняла меня более чем любезно, даром накормила хорошим ужином и вскоре, побуждаемая похотью, пригласила к себе на кровать. Тотчас делаюсь я несчастным, так как, переспав с ней только разочек, уже не могу отделаться от этой чумы. Все в нее всадил: и лохмотья, что добрые разбойники на плечах у меня оставили, и гроши, что я зарабатывал как грузчик, когда еще сила была, – пока эта добрая женщина и злая судьба не довели меня до такого состояния, в каком ты меня только что видел.

8. – Ну, – говорю я, – вполне ты этого заслуживаешь, и еще большего, если может быть большее несчастье, раз любострастные ласки и потаскуху потасканную детям и дому предпочел!

Но он, следующий за большим палец ко рту приложив, ужасом пораженный:

– Молчи, молчи! – говорит. И озирается, не слышал ли кто. – Берегись, – говорит, – вещей жены! Как бы невоздержанный язык беды на тебя не накликал!

– Еще что! – говорю. – Что же за женщина эта владычица и кабацкая царица?

– Ведьма, – говорит, – и колдунья: власть имеет небо спустить, землю подвесить, ручьи твердыми сделать, горы расплавить, покойников вывести, богов низвести, звезды загасить, самый Тартар осветить!

– Ну тебя, – отвечаю, – опусти трагический занавес и сложи эту театральную ширму, говори-ка попросту.

– Хочешь, – спрашивает, – об одной, о другой, – да что там! – о тьме ее проделок послушать? Воспламенить к себе любовью жителей не только этой страны, но Индии, обеих Эфиопий, даже самых антихтонов – для нее пустяки, детские игрушки! Послушай, однако, что она сделала на глазах у многих.

9. Любовника своего, посмевшего полюбить другую женщину, единым словом она обратила в бобра, так как зверь этот, когда ему грозит опасность быть захваченным, спасается от погони, лишая себя детородных органов; она надеялась, что и с тем случится нечто подобное, за то что на сторону понес свою любовь. Кабатчика одного соседнего, и, значит, конкурента, обратила она в лягушку. И теперь этот старик, плавая в своей винной бочке, прежних

посетителей своих из гущи хриплым и любезным кваканьем приглашает. Судейского одного, который против нее высказался, в барана она обратила, и теперь тот так бараном и ведет дела. А вот еще: жена одного из ее любовников позлословила как-то о ней, а сама была беременна – на вечную беременность осудила она ее, заключив чрево и остановив зародыш. По общему счету, вот уже восемь лет, как бедняжечка эта, животом отягощенная, точно слоном собирается разрешиться.

10. Это последнее злодеяние и зло, которое она многим продолжала причинять, наконец возбудили всеобщее негодование, и было постановлено в один прекрасный день назавтра жестоко отомстить ей, побив камнями, но этот план она заранее расстроила силою заклинаний. Как пресловутая Медея, выпросив у Креонта только денечек отсрочки, все его семейство, и дочь, и самого старца, пламенем, вышедшим из венца, сожгла, – так и эта, совершив над ямой погребальные моления (как мне сама недавно в пьяном виде сказывала), с помощью тайного насилия над божествами, всех жителей в их же собственных домах заперла, так что целых два дня не могли они ни замков сбить, ни выломать дверей, ни даже стен пробуравить, пока наконец, по общему уговору, в один голос не возопили, клянясь священнейшей клятвой, что не только не подымут на нее руки, но придут к ней на помощь, если кто замыслит иное. На этих условиях она смилостивилась и освободила весь город. Что же касается зачинщика всей этой выдумки, то его она в глухую ночь, запертым, как он был, со всем домом – со стенами, самой почвой, с фундаментом, перенесла за сто верст в другой город, расположенный на самой вершине крутой горы и лишенный поэтому воды. А так как тесно стоявшие жилища не давали места новому пришельцу, то, бросив дом перед городскими воротами, она удалилась.

11. – Странные, – говорю, – вещи и не менее ужасные, мой Сократ, ты рассказываешь. В конце концов ты меня вогнал в немалое беспокойство, даже в страх, я уже не сомнения ощущаю, а словно удары ножа, как бы та старушонка, воспользовавшись услугами какого-нибудь божества, нашего не узнала разговора. Ляжем-ка поскорее спать и, отдохнув, до света еще уберемся отсюда как можно дальше!

Я еще продолжал свои убеждения, а мой добрый Сократ уже спал и храпел вовсю, устав за день и выпив вина, от которого отвык. Я же запираю комнату, проверяю засовы, потом приставляю кровать плотно к дверям, чтобы загородить вход, и ложусь на нее. Сначала от страха я довольно долго не сплю, потом, к третьей страже, слегка глаза смыкаться начинают.

Только что заснул, как вдруг с таким шумом, что и разбойников не заподозришь, двери распахнулись, скорее, были взломаны и сорваны с петель. Кроватишка, и без того-то коротенькая, хромая на одну ногу и гнилая, от такого напора опрокидывается и меня, вывалившегося и лежащего на полу, всего собою прикрывает.

12. Тут я понял, что некоторым переживаниям от природы свойственно приводить к противоречащим им последствиям. Как частенько слезы от радости бывают, так и я, превратившись из Аристомена в черепаху, в таком вот ужасе не мог удержаться от смеха. Пока, валяясь в грязи под прикрытием кровати, смотрю украдкой, что будет дальше, вижу двух женщин пожилых лет. Зажженную лампу несет одна, губку и обнаженный меч – другая, и вот они уже останавливаются около мирно спящего Сократа. Начала та, что с мечом:

– Вот, сестра Пантия, дорогой Эндимион; вот котик мой, что ночи и дни моими молодыми годочками наслаждался, вот тот, кто любовь мою презирал и не только клеветой меня пятнал, но замыслил прямое бегство. А я, значит, как хитрым Улиссом брошенная, вроде Калипсо, буду оплакивать вечное одиночество! – А потом, протянув руку и показывая на меня своей Пантии, продолжала: – А вот добрый советчик, Аристомен, зачинщик бегства, что ни жив ни мертв теперь на полу лежит, из-под кровати смотрит на все это и думает безнаказанным за оскорбления, мне нанесенные, остаться! Но я позабочусь, чтобы он скоро, – да нет! – сейчас и даже сию минуту понес наказание за вчерашнюю болтовню и за сегодняшнее любопытство!

Мероя пронзает мечом шею Сократа

13. Как я это услышал, холодным потом, несчастный, покрылся, все внутренности затряслись, так что сама кровать от беспокойных толчков на спине моей, дрожа, затанцевала. А добрая Пантия говорит:

– Отчего бы нам, сестра, прежде всего не растерзать его, как вакханкам, или, связав по рукам и по ногам, не оскопить?

На это Мероя (теперь я отгадал ее имя, так как описания Сократа и в самом деле к ней подходили) отвечает:

– Нет, его оставим в живых, чтобы было кому горстью земли покрыть тело этого несчастного.

И, повернув направо Сократову голову, она в левую сторону шеи ему до рукоятки погрузила меч и излившуюся кровь старательно приняла в поднесенный к ране маленький мех, так, чтобы нигде ни одной капли не упало. Своими глазами я это видел. К тому же (для того, думаю, чтобы ничего не опустить в обряде жертвоприношения) добрая Мероя, запустив правую руку глубоко, до самых внутренностей, в рану и покопавшись там, вынула сердце моего несчастного товарища. Горло его ударом меча было рассечено, и какой-то звук, вернее, хрип неопределенный из раны вырвался, и он испустил дух. Затыкая эту разверстую рану в самом широком ее месте губкой, Пантия сказала:

– Ну, ты, губка, бойся, в море рожденная, через реку переправляться! – После этого, отодвинув кровать и расставя над моим лицом ноги, они принялись мочиться, пока зловоннейшей жидкостью меня всего не залили.

14. Лишь только они переступили порог, и вот уже двери встают в прежнее положение как ни в чем не бывало, петли опять заходили, брусья запоров снова вошли в косяки, задвижки вернулись на свои места. Я же как был, так и остался на полу простертый, бездыханный, голый, иззябший, залитый мочой, словно только что появившийся из материнского чрева или, вернее, полумертвый, переживший самого себя, как последыш или, по крайней мере, преступник, для которого уже готов крест.

– Что будет со мною, – произнес я, – когда утром обнаружится этот зарезанный? Кто найдет мои слова правдоподобными, хоть я и буду говорить правду? «Звал бы, скажут, на помощь, по крайней мере, если ты, такой здоровенный малый, не мог справиться с женщиной! На твоих глазах режут человека, а ты молчишь! Почему же сам ты не погиб при таком разбое? Почему свирепая жестокость пощадила свидетеля преступления и доносчика? Но хотя ты и избег смерти, теперь к товарищу присоединишься».

Подобные мысли снова и снова приходили мне в голову; а ночь близилась к утру. Наилучшим мне показалось до свету выбраться тайком и пуститься в путь, хотя

бы ощупью. Беру свою сумку и, вставив в скважину ключ, стараюсь отодвинуть задвижку. Но эти добрые и верные двери, что ночью сами собою раскрывались, только после долгой возни с ключом насилу под конец дали мне дорогу.

15. Я закричал:

– Эй, есть тут кто? Откройте мне калитку: до свету хочу выйти!

Привратник, позади калитки на земле спавший, говорит спросонья:

– Разве ты не знаешь, что на дорогах неспокойно – разбойники попадаются! Как же ты так ночью в путь пускаешься? Если у тебя такое преступление на совести, что ты умереть хочешь, так у нас-то головы не тыквы, чтобы из-за тебя умирать!

– Недолго, – говорю, – до света. К тому же что могут отнять разбойники у такого нищего путника? Разве ты, дурак, не знаешь, что голого раздеть десяти силачам не удастся?

На это он, засыпая и повернувшись на другой бок, еле языком ворочая, отвечает:

– Почем я знаю, может быть, ты зарезал своего товарища, с которым вчера вечером пришел на ночлег, и думаешь спастись бегством?

При этих словах (до сих пор помню) показалось мне, что земля до самого Тартара разверзлась и голодный пес Цербер готов растерзать меня. Тогда я понял, что добрая Мероя не из жалости меня пощадила и не зарезала, а от жестокости для креста сохранила.

16. И вот, вернувшись в комнату, стал я раздумывать, каким способом лишить себя жизни. Но так как судьба никакого другого смертоносного орудия, кроме одной только моей кровати, не предоставила, то начал я:

– Кроватка моя, кроватка, дорогая сердцу моему, ты со мной столько несчастий претерпела, ты по совести знаешь, что ночью свершилось, тебя одну могу на суде я назвать свидетельницей моей невиновности. Мне, в преисподнюю стремящемуся, облегчи туда дорогу! – И с этими словами я отдираю от нее веревку, которая на ней была натянута; закинув и прикрепив ее за край

стропила, который выступал под окном, на другом конце делаю крепкую петлю, влезаю на кровать и, на погибель себе так высоко забравшись, петлю надеваю, всунув в нее голову. Но когда я ногой оттолкнул опору, чтобы под тяжестью тела петля сама затянулась у горла и прекратила мое дыхание, внезапно веревка, и без того уже гнилая и старая, обрывается, и я лечу с самого верха, обрушиваюсь на Сократа, что около меня лежал, и, падая, вместе с ним качусь на землю.

17. Как раз в эту минуту врывается привратник, крича во все горло:

– Где же ты? Среди ночи приспичило тебе уходить, а теперь храпишь, закутавшись?

Тут Сократ, разбуженный, не знаю уж, падением ли нашим или его неистовым криком, первым вскочил и говорит:

– Недаром все постояльцы терпеть не могут трактирщиков! Этот нахал вламывается сюда, наверное, чтобы стащить что-нибудь, и меня, усталого, будит от глубокого сна своим ораньем.

Я весело и бодро поднимаюсь, неожиданным счастьем переполненный.

– Вот, надежный привратник, мой товарищ, отец мой и брат. А ты с пьяных глаз болтал ночью, будто я его убил! – С этими словами я, обняв Сократа, принялся его целовать. Но отвратительная вонь от жидкости, которою меня те ламии залили, ударила ему в нос, и он с силой оттолкнул меня.

– Прочь, – говорит он, – несет, как из отхожего места!

И начал меня участливо расспрашивать о причинах этого запаха. А я, несчастный, отделавшись кое-как наспех придуманной шуткой, стараюсь перевести его внимание на другой предмет и, обняв его, говорю:

– Пойдем-ка! Почему бы нам не воспользоваться утренней свежестью для пути? – Я беру свою котомку, и, расплатившись с трактирщиком за постой, мы пускаемся в путь.

18. Мы шли уже довольно долго, и восходящее солнце все освещало. Я внимательно и с любопытством рассматривал шею своего товарища, то место, куда вонзили, как я сам видел, меч. И подумал про себя: «Безумец, до чего же ты напился, если тебе привиделись такие странности! Вот Сократ: жив, цел и невредим. Где рана? Где губка? И где, наконец, шрам, такой глубокий, такой свежий?» Потом, обращаясь к нему, говорю:

– Недаром опытные врачи тяжелые и страшные сны приписывают обжорству и пьянству! Вчера, к примеру, не считал я кубков, вот и была у меня жуткая ночь с ужасными и жестокими сновидениями – до сих пор мне кажется, будто я весь залит и осквернен человеческой кровью!

На это он, улыбнувшись, заметил:

– Не кровью, а мочой! А впрочем, мне и самому приснилось, будто меня зарезали. И горло болело, и казалось, само сердце у меня вырывают: даже теперь дух замирает, колени трясутся, шаг нетверд, и хочется для подкрепления съесть чего-нибудь.

– Вот тебе, – отвечаю, – и завтрак! – С этими словами я снимаю с плеч свою сумку и поспешно протягиваю ему хлеб с сыром. – Сядем, – говорю, – у этого платана.

19. Мы уселись, и я тоже принимаюсь за еду вместе с ним. Смотрю я на него, как он с жадностью ест, и замечаю, что все черты его заостряются, лицо смертельно бледнеет и силы покидают его. Живые краски в его лице так изменились, что мне показалось, будто снова приближаются к нам ночные фурии, и от страха кусочек хлеба, который я откусил, как ни мал он был, застрял у меня в горле и не мог ни вверх подняться, ни вниз опуститься. Видя, как мало на дороге прохожих, я все больше и больше приходил в ужас. Кто же поверит, что убийство одного из двух путников произошло без участия другого? Между тем Сократ, наевшись до отвала, стал томиться нестерпимой жаждой. Ведь он сожрал добрую половину превосходного сыра. Невдалеке от платана протекала медленная речка, вроде тихого пруда, цветом и блеском похожая на серебро или стекло.

– Вот, – говорю, – утоли жажду молочной влагой этого источника.

Он поднимается, быстро находит удобное местечко, на берегу становится на колени и, наклонившись, жадно тянется к воде. Но едва только краями губ коснулся он поверхности воды, как рана на шее его широко открывается, губка внезапно из нее выпадает, и вместе с нею несколько капель крови. Бездыханное тело полетело бы в воду, если бы я его, удержав за ногу, не вытянул с трудом на высокий берег, где, наскоро оплакав несчастного спутника, песчаной землею около реки навеки его и засыпал. Сам же в ужасе, трепеща за свою безопасность, разными окольными и пустынными путями я убегаю и, словно действительно у меня на совести убийство человека, отказываюсь от родины и родимого дома, приняв добровольное изгнание. Теперь, снова женившись, я живу в Этолии.

20. Вот что рассказал Аристомен.

Но спутник его, который с самого начала с упорной недоверчивостью относился к рассказу и не хотел его слушать, промолвил:

– Нет ничего баснословнее этих басен, нелепее этого вранья! – Потом, обратившись ко мне: – И ты, по внешности и манерам образованный человек, веришь таким басням?

– Я, по крайней мере, – отвечаю, – ничего не считаю невозможным, и, по-моему, все, что решено судьбою, со смертными и совершается. И со мною ведь, и с тобою, и со всяким часто случаются странные и почти невероятные вещи, которым никто не поверит, если рассказать их неиспытавшему. Но я этому человеку и верю, клянусь Геркулесом, и большой благодарностью благодарен за то, что он доставил нам удовольствие, позабавив интересной историей: я без труда и скуки скоротал тяжелую и длинную дорогу. Кажется, даже лошадь моя радуется такому благодеянию: ведь до самых городских ворот я доехал, не утруждая ее, скорее на своих ушах, чем на ее спине.

21. Тут пришел конец нашему пути и вместе с тем разговорам, потому что оба моих спутника свернули налево, к ближайшей усадебке, а я, войдя в город, подошел к первой попавшейся мне на глаза гостинице и тут же начал расспрашивать старуху хозяйку.

– Не Гипата ли, – говорю, – этот город?

Подтвердила.

– Не знаешь ли Милона, одного из первых здесь людей?

Рассмеялась.

– И вправду, – говорит, – первейшим гражданином считается здесь Милон: ведь дом его первый из всех по ту сторону городских стен стоит.

– Шутки в сторону, добрая тетушка, скажи, прошу тебя, что он за человек и где обитает?

– Видишь, – говорит, – крайние окна, что на город смотрят, а с другой стороны, рядом, ворота в переулок выходят? Тут этот Милон и обитает, набит деньгами, страшный богатей, но скуп донельзя и всем известен как человек преподлый и прегрязный; больше всего ростовщичеством занимается, под залог золота и серебра проценты большие дерет; одной наживе преданный, заперся он в своем домишке и живет там с женой, разделяющей с ним его несчастную страсть. Только одну служаночку держит и ходит всегда что нищий.

На это я, рассмеявшись, подумал: вот так славную и предусмотрительную мой Демея дал мне в дорогу рекомендацию. К такому человеку послал, в гостеприимном доме которого нечего бояться ни чада, ни кухонной вони.

22. Дом был рядом, приближаюсь я ко входу и с криком начинаю стучать в накрепко закрытую дверь. Наконец является какая-то девушка.

– Эй, ты, – говорит, – что в двери барабанишь? Под какой залог взаймы брать хочешь? Один ты, что ли, не знаешь, что, кроме золота и серебра, у нас ничего не принимают?

– Взаймы? Ну нет, пожелай мне, – говорю, – чего-нибудь получше и скорее скажи, застану ли дома твоего хозяина?

– Конечно, – отвечает, – а зачем он тебе нужен?

– Письмо я принес ему от Демеи из Коринфа.

– Сейчас доложу, – отвечает, – подожди меня здесь. – С этими словами заперла она снова двери и ушла внутрь. Через несколько минут вернулась и, открыв двери, говорит: – Просят.

Вхожу, вижу, что хозяин лежит на диванчике и собирается обедать. В ногах сидит жена и, указав на пустой стол:

– Вот, – говорит, – милости просим.

– Прекрасно, – отвечаю я и тут же передаю хозяину письмо Демеи. Пробежав его, он говорит:

– Спасибо моему Демее, какого гостя он мне послал!

23. С этими словами он велит жене уступить мне свое место. Когда же я отказываюсь из скромности, он, схватив меня за полу:

– Садись, – говорит, – здесь; других стульев у меня нет, боязнь воров не позволяет нам приобретать утварь в достаточном количестве.

Я исполнил его желание. Тут он:

– По изящной манере держаться и по этой почти девической скромности заключил бы я, что ты благородного корня отпрыск, и, наверное, не ошибся бы. Да и Демея мой в своем письме это же самое сообщает. Итак, прошу, не презирай скудость нашей лачужки. Вот эта комната рядом будет для тебя вполне приличным помещением. Сделай милость – остановись у нас. Честь, которую ты окажешь моему дому, возвеличит его, и тебе будет случай последовать славному примеру: удовольствуясь скромным очагом, ты в добродетели будешь подражать Тезею (прославленному тезке твоего отца), который не пренебрег простым гостеприимством старой Гекалы. – И, позвавши служаночку, говорит: – Фотида, прими вещи гостя и сложи их бережно в ту комнату. Потом принеси из кладовой масла для натирания, полотенце утереться и все прочее и своди моего гостя в ближайшие бани, – устал он после такого дальнего и трудного пути.

24. Слушая эти распоряжения, я подумал о характере и скупости Милона и, желая теснее с ним сблизиться, говорю:

– У меня все есть, что нужно в пути. И бани я легко сам найду. Всего важнее, чтобы лошадь моя, что так старалась всю дорогу, не осталась голодной. Вот, Фотида, возьми эти деньжонки и купи овса и сена.

После этого, когда вещи уже были сложены в моей комнате, сам я отправляюсь в бани, но прежде надо о еде позаботиться, и я иду на рынок за продуктами. Вижу, выставлена масса прекрасной рыбы. Стал торговаться – вместо ста нуммов уступили за двадцать денариев. Я уже собирался уходить, как встречаю своего товарища Пифия, с которым вместе учился в аттических Афинах. Сначала он довольно долго не узнает меня, потом бросается ко мне, обнимает и осыпает поцелуями.

– Луций мой! – говорит. – Как долго мы не видались, право, с самого того времени, как расстались с Клитием, учителем нашим. Что занесло тебя сюда?

– Завтра узнаешь, – говорю, – но что это? Тебя можно поздравить? Вот и ликторы? и розги, – ну, словом, весь чиновный прибор!

– Продовольствием занимаемся, – отвечает, – исполняем обязанности эдила. Если хочешь закупить что, могу быть полезен.

Я отказался, так как уже достаточно запасся рыбой на ужин. Тем не менее Пифий, заметив корзинку, стал перетряхивать рыбу, чтобы лучше рассмотреть ее, и спрашивает:

– А это дрянцо почем брал?

– Насилу, – говорю, – уломал рыбака уступить мне за двадцать денариев.

25. Услышав это, он тотчас хватает меня за правую руку и снова ведет на рынок.

– А у кого, – спрашивает, – купил ты эти отбросы?

Я указываю на старикашку, что в углу сидел. Тут же он на того набросился и стал грубейшим образом распекать его по-эдильски:

– Так-то обращаетесь вы с нашими друзьями, да и вообще со всеми приезжими! Продаете паршивых рыб по такой цене! До того этот город, цвет Фессалийской области, доведете, что опустеет он, как скала! Но даром вам это не пройдет! Узнаешь ты, как под моим началом расправляются с мошенниками! – И, высыпав из корзинки рыбу на землю, велел он своему помощнику стать на нее и всю растоптать ногами. Удовольствовавшись такою строгостью, мой Пифий разрешает мне уйти и говорит: – Мне кажется, мой Луций, для старикашки достаточное наказание такой позор!

Изумленный и прямо-таки ошеломленный этим происшествием, направляюсь я к баням, лишившись благодаря остроумной выдумке моего энергичного товарища и денег, и ужина. Вымывшись, возвращаюсь я в дом Милона и прямо прохожу в свою комнату.

26. Тут Фотида, служанка, говорит:

– Зовет тебя хозяин.

Зная уже Милонову умеренность, я вежливо извиняюсь, что, мол, дорожная усталость скорее сна, чем пищи, требует. Получив такой ответ, он сам является и, обняв меня, тихонько увлекает. Я то отговариваюсь, то скромно упираюсь.

– Без тебя, – говорит, – не выйду. – И клятвой подтвердил эти слова. Я нехотя повинуюсь его упрямству, и он снова ведет меня к своему диванчику и, усадив, начинает: – Ну, как поживает наш Демея? Что жена его, что дети, домочадцы?

Рассказываю по отдельности обо всех. Расспрашивает подробно о целях моего путешествия. Все обстоятельно ему сообщаю. Тщательнейшим образом тогда разузнает он о моем родном городе, о самых знатных его гражданах, а под конец даже о нашем правителе, пока не заметил, что, сильно измученный трудной дорогой, я утомился долгим разговором и засыпаю посреди фразы, бормоча что-то невнятное, и не отпустил меня в спальню. Так избавился я от мерзкого старика с его болтливым и голодным угощением, отягченный сном, не пищею, поужинав одними баснями. И, вернувшись в комнату, я предался желанному покою.

Книга вторая

1. Как только ночь рассеялась и солнце новый день привело, расстался я одновременно со сном и с постелью. И вообще-то я человек беспокойный и неумеренно жадный до всего редкостного и чудесного. А теперь, при мысли, что я нахожусь в сердце Фессалии, единогласно прославленной во всем мире как родина магического искусства, держа в памяти, что история, рассказанная добрым спутником Аристоменом, начинается с упоминания об этом городе, я с любопытством оглядывал все вокруг, возбужденный желанием, смешанным с нетерпением. Вид любой вещи в городе вызывал у меня подозрения, и не было ни одной, которую я считал бы за то, что она есть. Все мне казалось обращенным в другой вид губительными нашептываниями. Так что и камни, по которым я ступал, представлялись мне окаменевшими людьми; и птицы, которым внимал, – тоже людьми, но оперенными; деревья вокруг городских стен – подобными же людьми, но покрытыми листьями; и ключевая вода текла, казалось, из человеческих тел. Я уже ждал, что статуи и картины начнут ходить, стены говорить, быки и прочий скот прорицать и с самого неба, со светила дневного, внезапно раздастся предсказание.

2. Так все обозреваю я, пораженный, и только что чувств не лишаюсь от мучительного любопытства, но не вижу никакого признака близкого осуществления моих ожиданий. Брожу я, как праздный бездельник, от двери к двери и незаметно для себя прихожу на рынок. Тут, ускорив шаг, догоняю какую-то женщину, окруженную многочисленными слугами. Золото, которым были оправлены ее драгоценности и заткана одежда, без сомнения, выдавало знатную матрону. Бок о бок с ней шел старик, обремененный годами, который, как только увидел меня, воскликнул:

– Клянусь Геркулесом, это Луций! – Поцеловал меня и тотчас зашептал что-то, не знаю что, на ухо матроне. – Что же, – говорит он мне, – ты сам не подойдешь и не поздороваешься со своей родственницей?

– Я не смею, – говорю, – здороваться с женщинами, которых не знаю. – И тотчас, покраснев, опустил голову и отступил. Но та, остановив на мне свой взор, начала:

– Вот она, благородная скромность добродетельной Сальвии, его матери, да и во всем его облике поразительное, точнейшее с нею сходство: соразмерный рост, стройность без худобы, румянец не слишком яркий, светлые, от природы вьющиеся волосы, глаза голубые, но зоркие и блестящие – ну прямо как у орла, лицо, откуда ни посмотри, – цветник юности, чарующая и свободная поступь!

3. Я, мой Луций, – продолжала она, – тебя воспитала вот этими самыми руками. Да как же иначе? Я не только родственница, я – молочная сестра твоей матери. Обе мы из рода Плутарха, одна у нас была кормилица, и выросли мы вместе, как две сестры; разница между нами только в положении: она вышла замуж за очень знатного человека, я – за скромного. Я – та Биррена, имя которой, частенько повторяемое твоими воспитателями, наверное, ты запомнил. Прими же доверчиво мое гостеприимство или, вернее, считай мой дом своим.

Я, перестав краснеть во время этой речи, отвечаю:

– Не годится, тетушка, отказываться от гостеприимства Милона без всякого повода. Но я буду посещать тебя так часто, как позволят дела. В другой раз, сколько бы сюда ни приезжал, кроме тебя, ни у кого не остановлюсь. – Обмениваясь такими речами, через несколько шагов мы оказались у дома Биррены.

Луций и Биррена рассматривают статую Дианы

4. В прекраснейшем атриуме – в каждом из четырех его углов – поднималось по колонне, украшенной изображением богини с пальмовой ветвью. Распустив крылья, богини оставались неподвижны; чудилось, что, едва касаясь нежной стопой шаткой опоры – катящегося шара, – они лишь на мгновение застыли на нем и готовы уже вновь подняться в воздух. Самую середину комнаты занимала Диана из паросского камня превосходной работы, с развевающимися одеждами, в стремительном движении навстречу входящим, внушая почтение своим божественным величием. С обеих сторон сопровождают ее собаки, тоже из камня. Глаза грозят, уши настороженны, раздуты ноздри, зубы оскалены. Если где-нибудь поблизости раздастся лай, подумаешь, он из каменных глоток

исходит. Мастерство превосходного скульптора выразилось больше всего в том, что передние лапы у собаки взметнулись в воздух вместе с высоко поднятой грудью и как будто бегут, меж тем как задние опираются на землю. За спиной богини высилась скала в виде грота, украшенная мхом, травой, листьями, ветками, тут – виноградом, там – растущим по камням кустарником. Тень, которую бросает статуя внутрь грота, рассеивается от блеска мрамора. По краю скалы яблоки и виноград висели, превосходно сделанные, в правдивом изображении которых искусство соперничало с природой. Подумаешь, их можно будет сорвать для пищи, когда зрелым цветом ожелтит их осень в пору сбора винограда. Если наклонишься к ручейку, который, выбегая из-под ног богини, журчал звонкой струей, поверишь, что этим гроздьям, кроме прочей правдоподобности, придана и трепещущая живость движения, как будто они свисают с настоящей лозы. Среди ветвей – Актеон, высеченный из камня: наполовину уже превращенный в оленя, смотрит он внимательно на богиню, подстерегая, когда Диана начнет купаться, и его отражение видно и в мраморе грота, и в бассейне.

5. Пока я не отрываясь гляжу на это, получая огромное наслаждение, Биррена говорит:

– Все, что видишь, – твое. – С этими словами она всех высылает, желая поговорить со мной наедине. Когда все ушли, она начинает: – Эта богиня – порука, Луций дражайший, как я тревожусь и боюсь за тебя и как хочу, словно родного сына, избавить тебя от опасности. Берегись, ой берегись злого искусства и преступных чар этой Памфилы, жены Милона, который, говоришь, твой хозяин. Первой ведьмой она считается и мастерицей заклинать души умерших. Нашепчет на палочку, на камешек, на какой другой пустяк – и весь звездный свод в Тартар низринет и мир погрузит в древний хаос. Как только увидит юношу красивой наружности, тотчас пленяется его прелестью и приковывается к нему душой и взором. Обольщает его, овладевает его сердцем, навеки связывает узами ненасытной любви. Если же кто воспротивится и пренебрежет ею, тотчас обращает в камень, в скотину, в любого зверя или же совсем уничтожает. Вот почему я трепещу от страха за тебя и советую тебе остерегаться. Она непрестанно томится похотью, а ты по возрасту и красоте ей подходишь. – Так Биррена со мной взволнованно беседовала.

6. А я, и так полный любопытства, лишь только услышал давно желанные слова «магическое искусство», как, вместо того чтобы избегать козней Памфилы, всею душой стал стремиться за любую цену отдать себя ей под начало, готовый

стремглав броситься в бездну. Вне себя от нетерпения, я вырываюсь из рук Биррены, как из оков, и, наскоро сказав: «Прости!», лечу с быстротой к Милонову дому. Ускоряя шаги, как безумный: «Действуй, Луций, – говорю сам себе, – не зевай и держись! Вот тебе желанный случай, теперь можешь насытиться давно ожидаемыми чудесными сказками! Отбрось детские страхи, смело и горячо берись за дело, но от объятий твоей хозяйки воздержись и считай священным ложе честного Милона! Однако надо усиленно постараться насчет служанки Фотиды. Она ведь и лицом привлекательна, и нравом резва, и на язык очень остра. Вчера вечером, когда ты падал от сна, как заботливо проводила она тебя в спальню, уложила ласково на постель, хорошо и так любовно укрыла, поцеловала тебя в лоб и, всем видом своим показав, с какой неохотой уходит, наконец удалилась, столько раз оборачиваясь и оглядываясь! Что ж, в добрый час, будь что будет, попытаю счастья с Фотидой!»

7. Так рассуждая, достиг я дверей Милона, голосуя, как говорится, за свое предложение. Но не застаю дома ни Милона, ни его жены, только дорогую мою Фотиду. Она готовила хозяевам колбасу, набивая ее мелко накрошенной начинкой, и мясо мелкими кусочками…{Текст в рукописях испорчен.} Даже издали носом слышу я вкуснейший запах этого кушанья. Сама она, опрятно одетая в полотняную тунику, высоко, под самые груди ярким красным поясом опоясанная, цветущими ручками размешивала стряпню в горшке, круговое движение это частыми вздрагиваниями сопровождая; всем членам передавалось плавное движение – едва заметно бедра трепетали, гибкая спина слегка сотрясалась и волновалась прелестно. Пораженный этим зрелищем, я остолбенел и стою удивляясь; восстали и члены мои, пребывавшие прежде в покое. Наконец обращаюсь к ней:

– Как прекрасно, как мило, моя Фотида, трясешь ты этой кастрюлькой и ягодицами! Какой медвяный соус готовишь! Счастлив и трижды блажен, кому ты позволишь хоть пальцем к нему прикоснуться!

Тогда девушка, столь же развязная, сколь прекрасная:

– Уходи, – отвечает, – уходи, бедняжка, подальше от моего огня! Ведь если малейшая искра моя тебя зажжет, сгоришь дотла. Тогда, кроме меня, никто твоего огня не угасит, я ведь не только кастрюли, но и ложе сладко трясти умею!

8. Сказав это, она на меня посмотрела и рассмеялась. Но я не раньше ушел, чем осмотрев ее всю. Впрочем, что говорить об остальном, когда все время интересовали меня только лицо и волосы: на них смотрел я сначала во все глаза при людях, ими наслаждался потом у себя в комнате. Причина такого моего предпочтения ясна и понятна, ведь они всегда открыты и первыми предстают нашим взорам; и чем для остального тела служат расцвеченные веселым узором одежды, тем же для лица волосы – природным его украшением. Наконец, многие женщины, чтобы доказать прелесть своего сложения, всю одежду сбрасывают или платье приподымают, являя нагую красоту, предпочитая розовый цвет кожи золотому блеску одежды. Но если бы (ужасное предположение, да сохранят нас боги от малейшего намека на его осуществление!), если бы у самых прекрасных женщин снять с головы волосы и лицо лишить природной прелести, то пусть будет с неба сошедшая, морем рожденная, волнами воспитанная, пусть, говорю, будет самой Венерой, хором граций сопровождаемой, толпой купидонов сопутствуемой, поясом своим опоясанной, кинамоном благоухающей, бальзам источающей, – если плешива будет, даже Вулкану своему понравиться не сможет.

9. Что же скажешь, когда у волос цвет приятный, и блестящая гладкость сияет, и под солнечными лучами мощное они испускают сверканье или спокойный отблеск и меняют свой вид с разнообразным очарованием: то златом пламенея, погружаются в нежную медвяную тень, то вороньей чернотою соперничают с темно-синим оперением голубиных горлышек? Что скажешь, когда, аравийскими смолами умащенные, тонкими зубьями острого гребня на мелкие пряди разделенные и собранные назад, они привлекают взоры любовника, отражая его изображение наподобие зеркала, но гораздо милее? Что скажешь, когда, заплетенные во множество кос, они громоздятся на макушке или, широкой волною откинутые, спадают по спине? Одним словом, прическа имеет такое большое значение, что в какое бы золотое с драгоценностями платье женщина ни оделась, чем бы на свете ни разукрасилась, если не привела она в порядок свои волосы, убранной назваться не может.

Но Фотиде моей не замысловатый убор, а естественный беспорядок волос придавал прелесть, так как пышные локоны ее, слегка распущенные и свисающие с затылка, рассыпались вдоль шеи и, чуть-чуть завиваясь, лежали на обшивке туники; на концах они были собраны, а на макушке стянуты узлом.

10. Дальше не смог я выдержать такой муки жгучего вожделения; приникнув к ней в том месте, откуда волосы у нее зачесаны были на самую макушку,

сладчайший поцелуй запечатлел. Тут она, отстранившись немного, обернулась ко мне и, искоса взглянув на меня лукавым взором, говорит:

– Эй, ты, школьник! За кисло-сладкую закуску хватаешься. Смотри, как бы, объевшись медом, надолго желчной горечи не нажить!

– Что за беда, – говорю, – моя радость, когда я до того дошел, что за один твой живительный поцелуйчик готов изжариться, растянувшись на этом огне!

И с этими словами, еще крепче ее обняв, принялся целовать. И вот она уже соревнуется со мною в страсти и равную степень любви по-братски разделяет; вот уже, судя по благовонному дыханию полуоткрытого рта, по ответным ударам сладостного языка, упоенная вожделением, готова уже уступить ему.

– Погибаю, – воскликнул я, – и погиб уже совершенно, если ты не сжалишься надо мной.

На это она, опять меня поцеловав, говорит:

– Успокойся. Меня сделало твоею взаимное желание, и утехи наши откладываются ненадолго. Чуть стемнеет, я приду к тебе в спальню. Теперь уходи и соберись с силами, ведь я всю ночь напролет буду с тобой сражаться крепко и от души.

11. Долго еще обменивались мы такими и тому подобными словами и наконец разошлись. Только что наступил полдень, как Биррена в гостинец мне прислала жирную свинку, пяток курочек и большой кувшин превосходного старого вина. Я кликнул тогда Фотиду и говорю:

– Вот к тому же и Либер прибыл, оруженосец и побудитель Венерин. Сегодня же высосем до дна это вино, чтобы оно заставило исчезнуть стыдливую немочь и силу веселую придало страсти. Ведь на Венерином корабле такие только припасы требуются, чтобы на бессонную ночь в лампе достало масла, в чаше – вина.

Остаток дня посвящен был бане и наконец ужину. По приглашению доброго Милона я разделил с ним вполне приличную трапезу и старался, памятуя

наставления Биррены, как можно реже попадаться на глаза его супруге, отвращая свои взгляды от ее лица, будто от страшного Авернского озера. Но, наблюдая без устали за прислуживающей Фотидой, я несколько приободрился, как вдруг Памфила, взглянув на зажженную лампу, говорит:

– Какой сильный ливень будет завтра!

И на вопрос мужа, откуда это ей известно, отвечает, что лампа ей предсказала. На эти слова Милон, расхохотавшись, говорит:

– Великую Сивиллу мы держим в этой лампе, что с высоты своей подставки наблюдает за всеми небесными делами и за самим солнцем.

12. Тут я вступил в разговор и заявляю:

– Это только первые шаги в подобного рода прорицаниях, и нет ничего удивительного, что огонечек этот, хоть и скромен и человеческими руками зажжен, помнит все же о том великом небесном огне, как о своем родителе; божественный ясновидец, он и сам знает, и нам возвещает, что собирается свершить этот великий огонь. Да вот и теперь у нас в Коринфе гостит проездом некий халдей, который своими удивительными ответами весь город сводит с ума и деньги зарабатывает, открывая кому угодно тайну судьбы: в какой день вернее всего заключать браки, в какой крепче всего постройки закладывать, какой для торговых сделок сподручнее, какой для путешествия посуху удобнее, какой для плаванья благоприятнее. Вот и мне, когда я задал ему вопрос, чем окончится мое путешествие, он насказал много удивительнейших и разнообразных вещей; сказал, что и слава цветущая меня ожидает, и великие приключения невероятные, которые и в книги попадут.

13. Ухмыльнувшись на это, Милон говорит:

– А каков с виду тот халдей и как его звать?

– Длинный, – отвечаю, – и черноватенький. Диофан по имени.

– Он самый! – воскликнул. – Не кто, как он! Он и у нас подобным же образом многое многим предсказывал за немалые деньги и, больше того, добившись уже

отличных доходов, впал, несчастный, в убожество, даже можно сказать – в ничтожество.

В один прекрасный день, когда народ тесным кольцом обступал его и он давал предсказания вокруг стоявшим, подошел к нему некий купец, по имени Кердон, желая узнать день, благоприятный для отплытия. Тот ему уже день указал, уже кошелек появился на сцену, уже денежки высыпали, уже отсчитали сотню денариев – условленную плату за предсказание, как вдруг сзади протискивается какой-то молодой человек знатного рода, хватает его за полу, а когда тот обернулся, обнимает и крепко-крепко целует. А халдей, ответив на его поцелуи, усадил рядом с собою и, ошеломленный неожиданностью встречи, забыв о деле, которым был занят в тот момент, говорит ему: «Когда же прибыл ты сюда, долгожданный?» А тот, другой, отвечает на это: «Как раз с наступлением вечера. А теперь расскажи-ка ты, братец, каким образом держал ты путь морем и сушей с тех пор, как поспешно отплыл с острова Эвбеи?»

14. На это Диофан, наш замечательный халдей, не совсем еще придя в себя от изумления, говорит: «Врагам и неприятелям всем нашим пожелал бы я такого сурового, поистине Улиссова странствия! Ведь корабль наш, на котором мы плыли, потрепанный разными вихрями и бурями, потерял оба кормила, был прибит к противоположному берегу и, натолкнувшись на скалу, быстро пошел ко дну, так что мы, потеряв все, едва выплыли. Что удалось нам сберечь благодаря ли состраданию незнакомых людей или благосклонности друзей, все это попало в руки разбойников, а брат мой единственный, Аригнот, вздумавший противостоять их наглости, на глазах у меня, бедняга, был зарезан».

Пока он вел этот плачевный рассказ, купец тот, Кердон, забрав свои деньги, предназначавшиеся в уплату за предсказание, немедленно убежал. И только тогда Диофан, опомнившись, понял, какой промах своим неблагоразумием дал он, когда наконец увидел, что все мы, кругом стоявшие, разразились громким хохотом.

– Но, конечно, тебе, Луций, господин мой, одному из всех халдей этот сказал правду. Да будешь ты счастлив, и путь твой да будет благополучен!

15. Пока Милон таким образом пространно разглагольствовал, я молча томился и порядочно злился, что из-за болтовни, по моей вине так некстати затянувшейся, лишусь я доброй части вечера и лучших его плодов. Наконец, отложив в сторону робость, говорю я Милону:

– Предоставим этого Диофана его судьбе, и пусть он снова дерет с людей шкуру, где ему угодно, на море или на суше; я же, по правде сказать, до сих пор еще не оправился от вчерашней усталости, так что ты разреши мне пораньше лечь спать.

Сказано – сделано, я добираюсь до своей комнаты и нахожу там все приготовленным для весьма приятной пирушки. И слугам были постланы постели как можно дальше от дверей, для того, я полагаю, чтобы удалить на ночь свидетелей нашей возни, и к кровати моей был пододвинут столик, весь уставленный лучшими остатками от ужина, и большие чаши, уже наполовину наполненные вином, только ждали, чтобы в них долили воды, и рядом бутылка с отверстием, прорубленным пошире, чтобы удобнее было зачерпывать, – словом, полная закуска перед любовной схваткой.

16. Не успел я лечь, как вот и Фотида моя, отведя уже хозяйку на покой, весело приближается, неся в подоле ворох роз и розовых гирлянд. Крепко расцеловав меня, опутав веночками и осыпав цветами, она схватила чашу и, подлив туда теплой воды, протянула мне, чтобы я пил, но раньше, чем я осушил ее всю, нежно взяла обратно и, понемногу потягивая губками, не сводя с меня глаз, маленькими глоточками сладостно докончила. За первым бокалом последовал другой и третий, и чаша то и дело переходила из рук в руки; тут я, вином разгоряченный и не только душой, но и телом, к сладострастию готовым, чувствуя беспокойство, весь во власти необузданного и уже мучительного желания, наконец приоткрыл одежду и, показываясвоей Фотиде, с каким нетерпением жажду я любви, говорю:

– Сжалься, скорей приди мне на помощь! Ведь ты видишь, что, пылко готовый к близкой уже войне, которую ты объявила мне без законного предупреждения, едва получил я удар стрелы в самую грудь от жестокого Купидона, как тоже сильно натянул свой лук и теперь страшно боюсь, как бы от чрезмерного напряжения не лопнула тетива. Но если ты хочешь совсем угодить мне – распусти косы и подари мне свои желанные объятия под покровом струящихся волною волос.

17. Без промедления, быстро убрав посуду, сняв с себя все одежды, распустив волосы, преобразилась она прекрасно для радостного наслаждения, наподобие Венеры, входящей в волны морские, и, к гладенько выбритому женскому месту приложив розовую ручку, скорее для того, чтобы искусно оттенить его, чем для

того, чтобы прикрыть стыдливо:

– На бой, – говорит, – на сильный бой! Я ведь тебе не уступлю и спины не покажу. Если ты – муж, с фронта атакуй и нападай с жаром и, нанося удары, готов будь к смерти. Сегодняшняя битва ведется без пощады! – И с этими словами она поднимается на кровать и медленно опускается надо мною на корточки; часто приседая и волнуя гибкую спину свою сладострастными движениями, она досыта накормила меня плодами Венеры Раскачивающейся; наконец, утомившись телом и обессилевши духом, упали мы в объятия друг другу, запыхавшиеся оба и изнуренные.

В таких и похожих на эту схватках провели мы ночь до рассвета, время от времени чашами прогоняя утомление, возбуждая вожделение и снова предаваясь сладострастью. По примеру этой ночи прибавили мы к ней других подобных немалое количество.

18. Случилось как-то, что Биррена весьма настойчиво попросила меня прийти к ней на небольшой дружеский ужин; я долго отказывался, но отговорки мои не были уважены. Пришлось, стало быть, обратиться к Фотиде и спросить у нее совета, как у оракула. Хотя ей трудно было переносить, чтобы я хоть на шаг от нее удалился, тем не менее она любезно соблаговолила объявить краткое перемирие в военных действиях любви. Но говорит мне:

– Послушай, постарайся пораньше уйти с ужина. Есть у нас отчаянная шайка из знатнейших молодых людей, которая нарушает общественное спокойствие; то и дело прямо посреди улицы находят трупы убитых, а войска наместника далеко и не могут очистить город от такой заразы. Судьба щедро наделила тебя своими дарами, а как с человеком дорожным, церемониться с тобой не станут, как раз и попадешь в ловушку.

– Отбрось тревогу, моя Фотида, – отвечаю, – ведь, кроме того что наши утехи мне дороже чужих ужинов, я и страх твой этот успокою, вернувшись пораньше. Да и пойду я не без провожатых. Опоясавшись испытанным мечом своим, сам понесу залог своей безопасности.

Приготовившись таким образом, отправляюсь на ужин.

19. Здесь застаю множество приглашенных, как и полагается для знатной женщины, – цвет города. Великолепные столы блестят туей и слоновой костью, ложа покрыты золотыми тканями, большие чаши, разнообразные в своей красоте, но все одинаково драгоценные. Здесь стекло, искусно граненное, там чистейший хрусталь, в одном месте светлое серебро, в другом сияющее золото и янтарь, дивно выдолбленный, и драгоценные камни, приспособленные для питья, и даже то, чего быть не может, – все здесь было. Многочисленные разрезальщики, роскошно одетые, проворно подносят полные до краев блюда, завитые мальчики в красивых туниках то и дело подают старые вина в бокалах, украшенных самоцветами. Вот уже принесли светильники, застольная беседа оживилась, уже и смех раздается и вольные словечки и шутки то там, то сям.

Тут Биррена ко мне обращается с речью:

– Хорошо ли живется тебе в наших родных местах? Насколько я знаю, своими храмами, банями и другими постройками мы далеко превосходим все города; к тому же нет у нас недостатка ни в чем необходимом. Кто бы ни приехал к нам, праздный ли человек или деловой, всякий найдет, что ему нужно, не хуже, чем в Риме; скромный же гость обретет сельский покой, – одним словом, все удовольствия и удобства провинции нашли себе у нас место.

20. На это я отвечаю:

– Правильно ты говоришь: ни в какой другой стране я не чувствовал себя так свободно, как здесь. Но до крайности опасаюсь я тайных козней магической науки, которых невозможно избежать. Говорят, что даже в могилах покойники не могут оставаться неприкосновенными, и из костров, из склепов добываются какие-то остатки и клочки трупов на гибель живущим. И старые чародейки в самые минуты погребальных обрядов успевают с быстротою хищных птиц предвосхитить новые похороны.

При этих моих словах вступил в разговор кто-то из присутствующих:

– Да тут и живым людям спуска не дают. Есть у нас один человек, с которым случилась подобная история, – так ему все лицо изуродовали, что и не узнать.

Тут все общество разразилось неудержимым хохотом, причем взоры всех обратились к гостю, возлежавшему в углу. Когда тот, смущенный таким упорным

и продолжительным вниманием окружающих, хотел, проворчав что-то в негодовании, подняться с места, Биррена говорит ему:

– Ну полно, мой Телефрон, останься немного и, будь любезен, расскажи еще раз свою историю, чтобы и сынок мой, вот этот Луций, мог насладиться прелестью твоей складной речи!

А он в ответ:

– Ты-то, госпожа, как всегда, проявляешь свою святую доброту. Но есть некоторые люди, наглость которых невозможно переносить!

Так он был возмущен. Но настойчивость Биррены, которая, заклиная его своей жизнью, заставляла рассказывать против воли, достигла цели.

Телефрон готовится рассказывать историю о живых покойниках

21. Тогда, образовав из покрывал возвышение, приподнявшись на ложе и опершись на локоть, Телефрон простирает правую руку и, наподобие ораторов, пригнув мизинец и безымянный палец, два других вытянув вперед, а большой угрожающе опустив, начинает благодушно таким образом:

– Будучи еще несовершеннолетним, отправился я из Милета на Олимпийские игры, и так как мне хотелось побывать и в этой части знаменитой провинции, в ваших краях, то, проехавши через всю Фракию, в недобрый час прибыл я в Лариссу. Мои дорожные средства истощились, и я бродил по городу, стараясь придумать, как бы помочь своей бедности. Вдруг вижу посреди площади какого-то высокого старика. Он стоял на камне и громким голосом предлагал тем, кто желал бы наняться караульщиком к покойникам, условиться с ним о цене. Тогда я обращаюсь к одному прохожему и говорю: «Что я слышу? Разве здесь покойники имеют обыкновение убегать?» – «Помолчи, – отвечает тот, – ты еще слишком молод и человек приезжий и, понятное дело, плохо себе представляешь, что находишься в Фессалии, где колдуньи нередко отгрызают у покойников части лица – это им для магических действий нужно».

22. Я продолжаю: «А в чем состоит, скажи на милость, обязанность этого могильного караульщика?» – «Прежде всего, – отвечает тот, – всю ночь напролет нужно бодрствовать и открытыми, не знающими сна глазами смотреть на труп, не отвращая взора и даже на единый миг не отворачиваясь; ведь негоднейшие эти оборотни, приняв вид любого животного, тайком стараются проникнуть, так что очи самого Солнца, самой Справедливости могут легко обмануться; то они обращаются в птиц, то в собак, то в мышей, иногда даже в мух. Тут от зловещих чар на караульщиков нападает сон. Никто не может даже перечислить, к каким уловкам прибегают эти зловреднейшие женщины ради своей похоти. И за эту работу, такую опасную, обыкновенно полагается плата не больше чем в четыре, шесть золотых. Да, вот еще, чуть не забыл! В случае если наутро тело будет сдано не в целости, все, что пропадет, полностью или частью, караульщик обязан возместить, отрезав от собственного лица».

23. Узнав все это, я собираюсь с духом и тут же, подойдя к глашатаю, говорю: «Полно уж кричать! Вот тебе и караульщик, посмотрим, что за цена». – «Тысяча нуммов, отвечает, тебе полагается. Но послушай, малый, хорошенько постарайся – это тело сына одного из важнейших граждан, от злых гарпий труп на совесть береги!» – «Глупости, говорю, ты мне толкуешь и чистейшие пустяки. Перед тобой человек железный, которого сон не берет, более бдительный, без сомнения, чем Линцей или Аргус, словом – один сплошной глаз!»

Не поспел я еще кончить, как он сейчас же ведет меня к какому-то дому, ворота которого были заперты, так что он пригласил меня войти через какую-то маленькую калитку, и, отворив дверь в какую-то темную комнату с закрытыми окнами, указывает на горестную матрону, закутанную в темные одежды. Подойдя к ней, он говорит: «Вот пришел человек, который не побоялся наняться в караульщики к твоему мужу». Тут она откинула волосы, спадавшие с обеих сторон наперед, и, показав прекрасное, несмотря на скорбь, лицо, говорит, глядя мне в глаза: «Смотри, прошу тебя, как можно бдительнее исполни свое дело». – «Не беспокойся, говорю, только награду соответственную приготовь».

24. Удовлетворившись ответом, она поднялась и ведет меня в другую комнату. Там, введя семерых неких свидетелей, она подымает рукою блестящие покровы с тела покойного, долго плачет над ним и, взывая к совести присутствующих, начинает тщательно перечислять части лица, показывая на каждую в отдельности, а кто-то умышленно заносил ее слова на таблички. «Вот, говорит, нос в целости, не тронуты глаза, целы уши, неприкосновенны губы, подбородок в сохранности; во всем этом вы, честные квириты, будьте свидетелями». После

этих слов к табличкам были приложены печати, и она направилась к выходу.

А я говорю: «Прикажи, госпожа, чтобы все, что для моего дела требуется, мне приготовили». – «А что именно?» – спрашивает. «Лампу, говорю, побольше масла, чтобы до свету света хватило, теплой воды, пару кувшинчиков винца, чашу да поднос с остатками ужина». Тут она покачала головой и говорит: «Да ты в своем ли уме? В доме, где траур, ищешь остатков от ужина, когда у нас который день и кухня не топится! Ты что ж думаешь, пировать сюда пришел? Лучше бы предавался ты скорби и слезам под стать окружающему!» С этими словами она взглянула на служанку и говорит: «Миррина, принеси сейчас же лампу и масло, потом запрешь караульщика в спальне и немедленно уходи обратно».

25. Оставленный, таким образом, наедине с трупом, я тру глаза, чтобы вооружить их против сна, и для храбрости песенку напеваю, а тем временем смеркается, сумерки наступают, сумерки сгущаются, потом глубокая ночь, наконец, глубочайший мрак. А у меня страх все увеличивался, как вдруг внезапно вползает ласочка, останавливается передо мной и так пристально на меня смотрит, что я смутился от такой наглости в столь ничтожном зверьке. Наконец говорю ей: «Пошла прочь, подлая тварь! Убирайся к мышам – они тебе компания, – покуда не испытала на себе моей силы! Пошла прочь!»

Повернулась и сейчас же исчезла из комнаты. Но в ту же минуту глубокий сон вдруг погрузил меня на самое дно какой-то бездны, так что сам Дельфиец с трудом угадал бы, какое из нас, двух лежащих тел, более мертво. Так, ничего не чувствуя и сам нуждаясь в караульщике, я будто бы и не был в той комнате.

26. Тут как раз оглушительное пение хохлатой команды возвестило, что ночь на исходе, и я наконец проснулся. Охваченный немалым страхом, бегу к трупу; поднеся светильник и откинув покров с лица, я стал рассматривать каждую черточку – все было на месте, как прежде. Вот и бедная супруга в слезах и в тревоге вместе со вчерашними свидетелями быстро входит и сейчас же бросается на тело мужа, долго осыпает его поцелуями, потом при свете лампы убеждается, что все в порядке. Тогда, обернувшись, подзывает она своего управляющего Филодеспота и дает ему распоряжение немедленно выдать вознаграждение доброму караульщику. Деньги сейчас же принесли, и она прибавляет: «Мы тебе крайне признательны, юноша, и, клянусь Геркулесом, за такую хорошую службу мы с этой минуты будем считать тебя нашим домочадцем». На что я, обрадованный неожиданной поживой и ошалевший от

блестящих золотых, которыми все время побрякивал в руке, говорю: «Больше того, госпожа! Считай меня своим слугою, и сколько бы раз тебе ни потребовалась наша служба, смело приказывай».

Едва я это произнес, как тотчас все домочадцы, проклиная зловещее предзнаменование и схватив что под руку попало, на меня набросились, кто кулаком в зубы заехал, кто локтями в спину тычет, кто руками злобно под бока поддает, пятками топчут, за волосы таскают, платье рвут. Так, разодранный и растерзанный, наподобие гордого Аонийского юноши или вещего Пиплейского певца, был я выгнан из дома.

27. И покуда на соседней улице я прихожу в себя и, слишком поздно вспоминая всю неосмотрительность и зловещий смысл моих слов, сознаюсь, что заслуживаю по справедливости еще больших побоев, вот уже покойника, в последний раз оплакав и окликнув, вынесли из дому, и так как хоронили аристократа, то, по исконным обрядам, устроенная на общественный счет погребальная процессия проходила через форум. Подбегает тут какой-то старик в темной одежде, скорбный, весь в слезах, рвет свои благородные седины и, обеими руками обняв погребальное ложе, громким, хотя и прерываемым поминутно рыданиями, голосом восклицает: «Вашим добрым именем заклинаю вас, квириты, и всем, что для вас свято: заступитесь за убитого гражданина и невероятное преступление зловредной этой и нечестивой женщины сурово покарайте. Это она, и никто другой, несчастного юношу, сына моей сестры, извела отравой, чтобы угодить любовнику и грабительски захватить наследство».

Так старец этот, то к одному, то к другому обращаясь, разливался в громких жалобах. Толпа между тем начала грозно волноваться, и правдоподобность случая заставляла верить в преступление. Одни кричат, что надо сжечь ее, другие хватаются за камни, мальчишек подговаривают прикончить женщину. А та, обливаясь притворными слезами и самыми страшными клятвами клянясь, призывая всех небожителей в свидетели, отпиралась от такого злодейства.

28. Наконец старец молвит: «Предоставим божественному провидению решить, где правда. Тут находится Затхлас, один из первых египетских пророков, который уже давно за большую цену условился со мною на время вызвать душу из преисподней, а тело это вернуть к жизни. – И с этими словами выводит он на середину какого-то юношу, в льняной одежде, в пальмовых сандалиях, с гладко выбритой головой. Долго целуя ему руки и даже колен касаясь, говорит он: –

Сжалься, служитель богов, сжалься ради светил небесных, ради подземных божеств, ради стихий природных, ради ночного безмолвия, ради святилищ коптских, и половодий нильских, и тайн мемфисских, и систров фаросских. Дай на краткий миг воспользоваться сиянием солнца и в сомкнутые навеки очи влей частицу света. Не ропщем мы и не оспариваем у земли ей принадлежащего, но, для того чтобы утешиться возмездием, просим о кратком возвращении к жизни».

Пророк, которого тронули эти мольбы, положил какую-то травку на уста покойнику, другую – ему на грудь. Затем, повернувшись к востоку, начал он молча молиться священному Солнцу, поднимавшемуся над горизонтом, всем видом своим во время этой сцены, достойной глубокого уважения, как нельзя лучше подготовив внимание присутствующих к чуду.

29. Я вмешиваюсь в толпу и, став на высоком камне позади самого погребального ложа, любопытным взором за всем слежу. И вот уже начинает вздыматься грудь, вены спасительно биться, уже духом наполняется тело; и поднялся мертвец, и заговорил юноша: «Скажите мне, зачем, вкусившего уже от летейских чаш, уже по стигийским болотам плывшего к делам мимолетной жизни возвращаете? Перестань же, молю, перестань, и меня к покою моему отпусти!» Вот что сказал голос, исходивший из тела. Но пророк, уже с большим жаром, говорит: «Что же ты не расскажешь народу все по порядку, отчего не объяснишь тайну твоей смерти? Разве ты не знаешь, что я могу заклинаньями моими призвать фурий и усталые члены твои предать мученью?» Тот слушает это с ложа и с глубоким вздохом так вещает народу: «Злыми чарами жены молодой изведенный и обреченный на гибельную чашу, брачное ложе неостывшим еще уступил я прелюбодею».

Тут замечательная эта жена, явно обнаглев, задалась кощунственной мыслью упрямо опровергать неоспоримые доводы мужа. Народ бушует, мнения разделяются; одни требовали, чтобы негоднейшая женщина сейчас же погребена была заживо с телом покойного мужа, другие говорили, что не следует верить лживым словам трупа.

30. Но эти пререкания были прерваны новою речью юноши, так как, испустив еще более глубокий вздох, он заговорил: «Дам, дам вам ясные доказательства своей безукоризненной правоты и открою то, о чем никто, кроме меня, не знает и не догадывается. – И тут, указывая на меня пальцем: – Да ведь, когда у тела моего бдительнейший этот караульщик твердо стоял на страже, старые колдуньи, охочие до бренной моей оболочки и принимавшие по этой причине

разные образы, многократно пытались обмануть его ревностное усердие и, наконец, напустив сонного тумана, погрузили его в глубокое забытье; а потом они не переставая звали меня по имени, и вот уже мои застывшие связки и похолодевшие члены силятся медленными движениями ответить на приказания магического искусства. Тут этот человек, на самом-то деле живой, да только мертвецки сонный, ничего не подозревая, встает, откликаясь на свое имя, так как мы с ним называемся одинаково, и добровольно идет вперед наподобие безжизненной тени; хотя двери в комнату были тщательно закрыты, однако там нашлось отверстие, через которое ему сначала отрезали нос, потом оба уха, так что он оказался изувеченным вместо меня. И чтобы замести следы, обманщицы приставляют ему сделанные из воска уши – точное подобие отрезанных – и нос, похожий на его собственный. Вот он пред вами, этот несчастный, получивший плату не за труд свой, а за увечье».

Перепуганный такими словами, я начинаю ощупывать свое лицо: схватываюсь за нос – остается у меня в руке; провожу по ушам – отваливаются. Когда все присутствующие стали указывать на меня пальцами и кивать головою, когда поднялся смех, я, обливаясь холодным потом, ныряю между ног окружавших меня людей и бегу прочь. Но после того как я стал калекой и всеобщим посмешищем, я не мог уже вернуться к домашнему очагу; так, расчесав волосы, чтобы они спадали с обеих сторон, я скрыл шрамы от отрезанных ушей, а постыдный недостаток носа стараюсь из приличия спрятать под этим полотняным платочком, который плотно прижимаю к лицу.

31. Когда Телефрон окончил эту историю, собутыльники, разгоряченные вином, вновь разразились хохотом. Пока они требовали, чтобы совершено было обычное возлияние богу Смеха, Биррена обращается ко мне со следующими словами:

– Завтра наступает день, считающийся с самого основания нашего города торжественным, потому что в этот день единственные во всем свете мы чтим веселыми и радостными обрядами святейшее божество – Смех. Своим присутствием ты сделаешь нам этот праздник еще приятнее. Как хорошо было бы, если бы и ты придумал в честь бога что-нибудь остроумное и забавное, чтобы мы поклонялись столь великому божеству еще более преданно и верно.

– Отлично, – говорю, – как приказываешь, так и будет. И, клянусь Геркулесом, хотелось бы мне найти что-нибудь такое, что по достоинству и в избытке удовлетворило бы великого бога.

После этого, так как мой слуга доложил мне, что наступает ночь, да и сам я уже вдоволь нагрузился вином, я быстро подымаюсь с места и, наскоро пожелав Биррене всего хорошего, нетвердой походкой пускаюсь в обратный путь.

Луций вытаскивает меч и защищается от разбойников

32. Но едва лишь вышли мы на улицу, как внезапный ветер гасит факел, который освещал нам дорогу, и мы, с трудом пробираясь в полном мраке неожиданно наступившей ночи, исколов о камни все ноги, насилу добрались до дому. Когда мы, крепко держась друг за друга, подходили к дому, вдруг видим: трое каких-то здоровых и дюжих людей изо всех сил ломятся в нашу дверь, не только нимало не смутившись нашим появлением, но наперебой стараясь ударить посильнее и почаще, так что нам, а мне в особенности, не без основания показались они разбойниками, и притом самыми свирепыми. Сейчас же вытаскиваю меч, который я взял с собой и нес под одеждой на подобный случай. Без промедления бросаюсь прямо на разбойников и одного за другим, с кем ни схвачусь, поражаю, всаживая глубоко меч, покуда наконец, покрытые множеством зияющих ран, у самых ног моих духа они не испускают. Окончив битву, между тем как и Фотида от шума проснулась, вбегаю я, едва переводя дыхание и обливаясь потом, в открытые двери и сейчас же, усталый, словно не с тремя разбойниками сражался, а Гериона убил, бросаюсь на кровать и в тот же миг засыпаю.

Книга третья

1. Едва Аврора, розовою рукою помавая, пустилась по небу на своих конях, украшенных алыми фалерами, как меня, у сладкого покоя похищенного, ночь передала дню. При воспоминании о вчерашнем преступлении на душу мне пало лихорадочное беспокойство; скрестив ноги и обвив колени переплетенными пальцами, сидел я, скорчившись, на кровати и горько плакал, рисуя в своем воображении и городскую площадь, и суд, и приговор, и самого палача. Разве может мне попасться такой мягкий, такой благорасположенный судья, который

меня, запятнанного жестокостью тройного убийства, забрызганного кровью стольких граждан, признает невиновным? Так вот какое славное странствование халдей Диофан так упорно мне предсказывал!

Снова и снова приходили мне в голову эти мысли, и я оплакивал свою судьбу, а между тем раздались удары в двери, и перед входом поднялся крик.

2. Тотчас же от сильного натиска распахиваются настежь двери, и весь дом наполняется чиновниками, их прислужниками и разношерстной толпой; и сейчас же двое ликторов по приказанию чиновников наложили на меня руки и повели, без всякого, разумеется, с моей стороны сопротивления. И едва мы вступили в ближайший переулок, как все жители, высыпав на улицу, необыкновенно тесной толпой двинулись за нами следом. И хотя шел я, печально опустив голову, а вернее сказать, желая даже сквозь землю провалиться, однако, бросая украдкой взоры по сторонам, замечаю нечто достойное величайшего удивления: ибо из стольких тысяч людей, что нас окружали, не было ни одного, который не покатывался бы со смеху. Тем временем, обойдя все улицы, проводят меня по всем закоулкам, как водят обычно животных, предназначенных для искупительных жертв, когда грозит какая-либо опасность, предсказанная божественными знамениями, и, наконец, ставят меня перед трибуналом на форуме. Уже на возвышенном месте восседали судьи, уже общественный глашатай призывал к молчанию, как вдруг все в один голос требуют, чтобы, приняв во внимание необычайную многочисленность сборища, которое грозит опасностью страшной давки, разбирательство столь важного дела было перенесено в театр. Народ хлынул беспорядочной толпой; не прошло и минуты, как все места, отведенные для зрителей, были заняты; даже проходы и вся крыша заполнены до отказа, многие ухватились за колонны, другие на статуях повисли, некоторые по пояс высунулись из окон и отверстий в потолке – нестерпимое желание увидеть все своими глазами заставляло пренебрегать опасностью для жизни. Тут меня стража, как жертву какую-нибудь, проводит через просцениум и ставит посреди орхестры.

Огромная толпа собирается смотреть на суд Луция

3. Вот снова раздается зычный голос глашатая, вызывающего обвинителя. Поднимается один старик, и, после того как для исчисления продолжительности речи в какой-то сосудец с узеньким, как в решете, отверстием была налита вода, вытекавшая оттуда капля за каплей, он обращается к народу с такими словами:

– Почтеннейшие квириты, дело идет не о пустяках, но о событии, непосредственно касающемся спокойствия всего города и которое послужит на будущее серьезным примером. Тем более надлежит вам, ради общественного достоинства, каждому в отдельности и всем вместе позаботиться, чтобы учинение гнусным убийцей кровавой бойни, которую он устроил, погубив так много граждан, не прошло безнаказанным. И не думайте, что я, побуждаемый личной враждой, по своей ненависти проявляю строгость. Я – начальник ночной стражи и полагаю, что до сегодняшнего дня никто не мог упрекнуть в чем бы то ни было мое неусыпное усердие. Я в точности вам доложу, в чем суть дела и что произошло в эту ночь. Итак, когда, уже около третьей стражи, я с чрезвычайною бдительностью обхожу весь город, осматривая каждый дом в отдельности, замечаю я этого жесточайшего юношу; обнажив меч, он сеет вокруг себя убийство, и уже три жертвы его ярости испускают дух у самых его ног, содрогаясь в лужах крови. Сам же он, не без причины встревоженный сознанием такого преступления, тотчас пустился бежать и, воспользовавшись темнотою, скрылся в каком-то доме, где и прятался целую ночь. Но благодаря божественному провидению, которое не оставляет ни одного злодейства ненаказанным, прождав его до утра, прежде чем он успел улизнуть тайными путями, я приложил все усилия, чтобы привести его сюда и предоставить решение дела вашему почтеннейшему судилищу. Итак, перед вами стоит подсудимый, запятнанный столькими убийствами, подсудимый, захваченный на месте преступления, подсудимый – чужеземец. Вынесите же, не колеблясь, приговор этому чужестранцу, совершившему такое злодеяние, за которое вы и своего согражданина строго бы покарали.

4. После этих слов смолк ужасный голос моего сурового обвинителя. Сейчас же глашатай обратился ко мне с предложением начать говорить, если я хочу что-нибудь ответить на обвинительную речь. А я в ту минуту мог только плакать, думая, клянусь Геркулесом, не столько об этой грозной речи, сколько о злосчастной моей совести. Наконец свыше послано было мне мужество, и я начал так:

– Небезызвестно и самому мне, как трудно человеку, которого обвиняют в убийстве, стоя перед трупами трех граждан, убедить такое множество народа в

своей невиновности, хотя бы он и говорил правду или добровольно сознавался в содеянном. Но если ваша снисходительность уделит мне немного внимания, я легко докажу вам, что не по собственной вине рискую я сейчас головою, а негодование, вполне объяснимое и возникшее по поводу чисто случайному, навлекло на меня такую страшную ненависть за преступление, которого не совершал.

5. Итак, когда я несколько позже обычного возвращался с ужина и был пьян – да, это и есть мое настоящее преступление, которого я не стану отрицать, – у самых дверей дома, где я остановился у почтенного вашего согражданина Милона, вижу каких-то свирепых разбойников, которые пытаются войти, сбивая двери с петель, яростно вытаскивая тщательно прилаженные засовы и уже сговариваясь между собою, как прикончить жителей этого дома. Один из них, к тому же и на руку особенно проворный, и самый коренастый, других такими словами подзадоривает: «Эй, ребята, нападем на спящих, как подобает мужам, быстро и сильно. Прочь из груди всякая медлительность, всякая вялость! Мечи наголо, и пусть гуляет по всему дому убийство! Кто лежит объятый сном – да погибнет; кто противиться посмеет – да будет убит. Целыми уйдем, если в доме никто цел не останется».

Признаться, квириты, при виде таких отпетых разбойников, сознавая долг честного гражданина, да и немалый страх испытывая за своих хозяев и за себя самого, вооруженный коротким мечом, который был у меня с собой на случай подобного рода опасностей, я решил испугать их и обратить в бегство. Но эти лютые злодеи, сущие варвары, и не подумали удирать. Наоборот! Они стали дерзко сопротивляться, хотя и видели оружие у меня в руках.

6. Начинается настоящее сражение. Тут сам главарь и вожак шайки набросился на меня изо всех сил и, сразу схватив обеими руками за волосы и закинув мне голову назад, хочет размозжить ее камнем. Покуда он кричал, чтобы ему дали камень, я твердой рукою пронзаю его, и он падает навзничь. Вскоре и второго, который кусался, уцепившись мне за ноги, метким ударом между лопаток приканчиваю, да и третьему, что очертя голову ринулся на меня, грудь насквозь пронзаю. Таким образом, восстановив спокойствие, защитив дом своих хозяев и общественную безопасность, я не только считал себя ни в чем не виноватым, но даже полагал, что заслуживаю похвалы со стороны граждан, тем более что меня никогда не касалась даже тень обвинения в каком-либо преступлении, и у себя на родине я всегда считался человеком честным, ставя чистую совесть выше всякой выгоды. Не могу себе представить, почему справедливая расправа,

учиненная мною над гнусными разбойниками, теперь навлекает на меня это обвинение, хотя никто не может доказать, что между нами до этого была личная вражда или что вообще я когда-нибудь был знаком с этими разбойниками; нет речи также о какой-либо поживе, страстью к которой могло бы объясняться подобное злодеяние.

7. Произнеся это, я снова залился слезами и, с мольбою простирая руки, в горести упрашиваю то тех, то других во имя общественного милосердия, во имя их самых дорогих привязанностей. Мне уже начало казаться, что во всех пробудилось сострадание, что все тронуты жалостным видом слез, я уже призвал в свидетели всевидящие очи Солнца и Справедливости и течение моего дела собирался представить божественному промыслу; как вдруг, чуть приподняв голову, я вижу, что вся толпа надрывается от хохота и даже добрый хозяин, родной мой Милон, хохочет во всю глотку. Тут я про себя подумал: «Вот она, верность! Вот она, совесть! Я стал ради спасения хозяина убийцею, и мне угрожает смертная казнь, а он не только никакого утешения мне не доставляет своим присутствием, но вдобавок над бедою моею хохочет!»

8. В эту минуту через середину театра пробегает какая-то скорбная, заплаканная женщина, закутанная в черные одежды, с каким-то малюткой на груди, а за ней другая, старая, в ужасных лохмотьях, такая же печальная, в слезах, обе потрясают оливковыми ветвями; встав по обе стороны ложа, где покоятся прикрытые тела убитых, они подымают плач, заунывно причитая:

– Общественным милосердием заклинаем, – вопят они, – и общим для всех правом на сострадание! Сжальтесь над позорно зарезанными юношами и нашему вдовству, нашему одиночеству дайте утешение в возмездии. Придите, по крайней мере, на помощь этому малютке, с младенческих лет уже обездоленному, и кровь этого разбойника пусть будет искупительной жертвой законам вашим и устоям общественной нравственности!

После этого старейший судья поднялся и обратился к народу так:

– Настоящего преступления, заслуживающего серьезного наказания, даже сам тот, кто его совершил, отрицать не может; но нам осталась еще одна, второстепенная забота – отыскать остальных участников такого страшного злодеяния. Ведь совершенно невероятно, чтобы человек один-одинешенек мог справиться с тройкой столь крепких молодых людей. Поэтому придется вырвать истину пыткой. Слуга, сопровождавший его, тайно скрылся, и обстоятельства

так сложились, что только сам виновный, подвергшись допросу, может указать соучастников своего преступления, дабы с корнем был уничтожен страх перед этой свирепой шайкой.

9. Не прошло и минуты, как приносят, по греческому обычаю, огонь, колесо и всякого рода плети. Уныние мое растет или, скорее, даже удваивается: и умереть-то в неприкосновенности не будет мне дано. А старуха, та, что всем собравшимся слезами своими душу перевернула, говорит:

– Добрые граждане, прежде чем разбойника этого, несчастных деток моих погубителя, к кресту пригвоздите, разрешите открыть тела убитых, чтобы, видя красоту их и молодость, вы, еще больше проникшись справедливым негодованием, проявили бы беспощадность, которой заслуживает это злодеяние.

Слова эти встречены были рукоплесканиями, и судья тотчас приказывает мне самому собственноручно открыть тела, покоившиеся на ложе. Так как я долго сопротивляюсь и не соглашаюсь снова выставлять мертвецов напоказ, чтобы не обновлять этим в памяти вчерашнее событие, за меня сейчас же, по приказанию суда, с особой настойчивостью берутся ликторы и в конце концов, оторвав руку мою от бока, заставляют протянуть ее к самым трупам – ей же самой на погибель. Наконец, побежденный необходимостью, я покоряюсь и, против воли, разумеется, сняв покрывало, открываю тела. Благие боги, что за вид? Что за чудо? Что за внезапная перемена в моей судьбе? Ведь я уже считал себя собственностью Прозерпины и домочадцем Орка – и вдруг дело принимает совсем другой оборот, и я застываю пораженный. Не могу подыскать подходящих слов, чтобы описать это неожиданное зрелище, – трупы убитых людей оказались тремя надутыми бурдюками, просеченными по всем направлениям, с отверстиями, зиявшими как раз на тех местах, куда, насколько я помню вчерашнюю мою битву, я наносил тем разбойникам раны.

10. Тут уж и те, кто прежде с хитрым умыслом хоть как-то сдерживался, дали полную волю хохоту. Одни, вне себя от радости, поздравляли друг друга, другие, схватившись руками за живот, старались унять боль в желудке. И, досыта навеселившись, все уходят из театра, оглядываясь на меня. А я как взял в руки то покрывало, так, закоченев, и продолжал стоять неподвижно, как камень, ничем не отличаясь от любой статуи или колонны в театре. И не раньше восстал я из мертвых, чем хозяин мой Милон подошел ко мне и взял меня за руку; невзирая на мое сопротивление, на слезы, вновь хлынувшие, на частые

всхлипыванья, он повлек меня за собою, употребив дружеское насилие, и, выбрав улицы попустыннее, каким-то окольным путем довел меня до своего дома, стараясь всевозможными разговорами разогнать свою мрачность и успокоить меня, все еще дрожавшего. Однако возмущения от обиды, глубоко засевшей в моем сердце, ему никакими способами смягчить не удалось.

11. Сейчас же приходят в наш дом сами судьи со своими знаками отличия и пытаются умилостивить меня следующими рассуждениями:

– Были нам хорошо известны, господин наш Луций, твое высокое положение и древность твоего рода, ибо по всей провинции разносится слава о благородстве вашей знаменитой семьи. И то, что пришлось тебе перенести и что так сильно огорчает тебя теперь, сделано совсем не для того, чтобы оскорбить тебя. Итак, выбрось из головы это огорчение и гони печаль от своей души. Ведь игры эти, которые мы торжественно и публично справляем ежегодно в честь всемилостивейшего бога Смеха, всегда украшаются какой-нибудь новой выдумкой. Бог этот, благосклонный и к автору, и к исполнителю представления в его честь, везде любовно будет тебе сопутствовать и не допустит, чтобы ты скорбел душою, но постоянно чело твое безмятежною прелестью радовать станет. А весь город за услугу эту присудил тебе высокие почести: ты записан в число его патронов, и постановлено воздвигнуть бронзовое твое изображение.

На эту речь ответствую я:

– Моя благодарность тебе, о самый блистательный и несравненный среди городов Фессалии, равна этим великим почестям, но статуи и изображения советую сохранять для людей более достойных и значительных, чем я.

12. После этого скромного ответа я слегка улыбаюсь и, постаравшись принять как можно более веселый вид, вежливо прощаюсь с уходящими судьями. Но вот вбегает какой-то слуга и говорит:

– Зовет тебя родственница твоя Биррена и напоминает, что уже наступает время пира, на который ты вчера обещал прийти.

Испугавшись и с ужасом думая о самом ее доме, я отвечал:

– Охотно исполнил бы я желание тетушки, если бы не был связан словом. Хозяин мой Милон заклинал меня божеством – покровителем сегодняшнего дня и заставил дать обещание отобедать сегодня у него; он и сам никуда не идет, и мне уходить не разрешает. Так что давайте-ка отложим срок явки на пирушку.

Не успел я еще выговорить это, как Милон, взяв меня под свою крепкую опеку, повел в ближайшие бани, приказав принести туда все необходимое для мытья. Я шел, прижавшись к нему, чтобы не быть замеченным, избегая всех взглядов и опасаясь смеха встречных, причиной которого был я сам. От стыда не помню уж, как мылся, как натирался, как обратно домой вернулся – до такой степени я терялся и впадал в столбняк, когда все указывали на меня глазами, кивками и даже руками.

13. Наконец, наскоро проглотив скудную Милонову закуску и сославшись на сильную головную боль, которая была вызвана непрерывным плачем, удаляюсь, чтобы лечь спать, на что без труда получаю разрешение, и, бросившись на свою кровать, в горести подробно вспоминаю все, что случились, пока наконец, уложивши спать свою госпожу, не является моя Фотида, сама на себя не похожая: ни веселого лица, ни бойкой речи, но хмурая, с глубокими морщинами на лбу. И вот, робко и с трудом произнося слова, начинает.

– Я, – говорит, – именно я сама, признаюсь, была причиной твоих неприятностей, – и тут же вытаскивает из-за пазухи какой-то ремень и, протягивая его мне, продолжает: – Возьми его, молю тебя, и отомсти неверной женщине, больше того – наложи на меня любую, еще более строгую кару. Но только не думай, прошу тебя, что я умышленно причинила тебе эту досаду. Боги да не допустят, чтобы из-за меня тебе хоть чуточку пришлось пострадать! И если что-нибудь будет угрожать тебе, ценою моей крови пусть будешь ты избавлен от всякой опасности! Но, по горькой моей судьбе, то, что я делала, повинуясь чужому приказанию и с иными намерениями, обернулось тебе во вред.

14. Тогда я, побуждаемый прирожденным своим любопытством и желая обнаружить скрытую причину совершавшегося, начинаю:

– Ремень этот, предназначавшийся тобою для бичевания, из всех ремней нечестивейший и самый дерзкий, я скорей изрежу и разорву в клочки, чем прикоснусь им к твоей пуховой молочной коже. Но расскажи мне по совести: что за поступок твой превратность судьбы обратила затем мне на гибель? Клянусь

тебе твоею драгоценнейшей для меня головою, не могу я поверить решительно никому и даже тебе самой, – если бы ты стала это утверждать, – будто ты задумала что бы то ни было мне во вред. К тому же ненадежная случайность, даже если она оказалась враждебной, не может невинному замыслу придать вины.

Окончив эту речь, глаза моей Фотиды, увлажненные и трепетные, томные от близкого вожделения и готовые уже вот-вот закрыться, я стал жадно осушать страстными, звучными поцелуями.

15. Тут она, от радости приободрившись, говорит:

– Позволь, прошу тебя, сначала тщательно замкнуть двери в комнату, чтобы не совершить мне большого преступления, если по суетной болтливости какое-нибудь слово вылетит. – Сказав это, она задвинула засовы, наложила крепкие крюки, затем, вернувшись ко мне и обеими руками обвив мою шею, начала тихим, едва слышным голосом: – Боюсь и очень страшусь я открыть секреты этого дома и выдать тайны моей хозяйки. Но я надеюсь на тебя и на твою образованность и верю, что ты, как человек не только достойный по благородному своему происхождению, не только обладающий возвышенным разумом, но и посвященный во многие таинства, в совершенстве умеешь хранить святой обет молчания. Итак, то, что я доверю глубине твоего богобоязненного сердца, навеки запертым, за крепкой оградой береги и за искренность моего признания награди меня крепостью твоего безмолвия, потому что любовь, которую я к тебе испытываю, побуждает меня рассказать тебе то, что одной мне на свете известно. Сейчас узнаешь все, что делается у нас в доме, сейчас узнаешь удивительные тайны моей хозяйки – из-за них-то ей повинуются маны, меняют свое течение светила, покоряются волей-неволей боги, несут рабскую службу стихии. Но никогда она не прибегает к этому искусству с большим рвением, чем заглядевшись на хорошенького юношу, что с ней случается довольно часто.

16. Вот и теперь она без памяти влюблена в какого-то молодого беотийца, юношу замечательной красоты, и с жаром пускает в ход всю силу своего искусства, все ухищрения. Слышала я вечером своими собственными ушами, своими, говорю, ушами слышала, как она самому солнцу грозила ввергнуть его в облачный мрак и вечную темноту за то, что солнце, по ее мнению, недостаточно быстро спустилось с неба и не поспешило уступить место ночи для исполнения магических обрядов. Вчера, возвращаясь из бани, увидела она случайно, что

этот юноша сидит в цирюльне, и велела мне потихонечку унести волосы его, которые после стрижки валялись на полу. Покуда я старалась украдкой подобрать их, поймал меня цирюльник, а так как о нас и без того ходит дурная слава, будто мы занимаемся злым чародейством, то, схватив меня, он безжалостно закричал: «Бросишь ты когда-нибудь, дрянь ты этакая, волосы порядочных молодых людей таскать! Если не перестанешь раз навсегда эти пакости делать, без разговоров отправлю тебя к властям!» За этим словом последовало и дело: запустив руку мне за пазуху и пошарив там, он с гневом вытаскивает волосы, уже спрятанные у меня между грудей. Глубоко огорченная этим и зная нрав своей госпожи, которая при подобного рода неудачах особенно сильно расстраивается и свирепейшим образом бьет меня, я подумывала о бегстве, но мысль о тебе сейчас же заставила меня оставить это намерение.

17. Но когда я возвращалась, печально раздумывая, как бы мне прийти домой не совсем с пустыми руками, замечаю, что какой-то человек стрижет маленькими ножницами шерсть на козьих мехах. Видя, что он крепко завязал их, надул и уже развешивает, я уношу с собой изрядное количество рыжеватой козьей шерсти, которая валялась на земле и цветом очень напоминала волосы того молодого беотийца; скрыв правду, передаю госпоже свою находку. Итак, с наступлением ночи, перед тем как тебе вернуться с ужина, моя Памфила, вне себя от нетерпения, поднимается на плоскую драночную крышу, которая по ту сторону здания ничем не защищена от ветров и открыта на восток и на все остальные стороны света. Это местечко, столь удобное для ее магических занятий, Памфила облюбовала и посещает тайком. Прежде всего она готовит в заведенном порядке все принадлежности зловещего своего дела: всякого рода ароматы, таблички с непонятными надписями и уцелевшие обломки погибших кораблей, разложенные в большом количестве части оплаканных и даже погребенных покойников; там ноздри и пальцы, там гвозди от крестов с приставшим мясом, в другом месте кровь, собранная после убийства, и пробитые черепа, вырванные из пасти диких зверей.

18. Тут произнеся заклинания над еще трепещущими внутренностями, она возливает различные жидкости: то воду ключевую, то молоко коровье, то горный мед, возливает и вино медовое. Затем волосы эти, сплетя их между собою и узлами завязав, она кладет вместе со множеством ароматов на горячие угли, чтобы сжечь. Тотчас же, по необоримой силе магического искусства и по таинственной власти покорных заклятиям божеств, тела тех, чьи волосы треща дымились, обретают на время человеческую душу, и чувствуют, и слышат, и двигаются, и, привлеченные запахом паленых своих останков, приходят сюда, и, вместо того беотийского юноши, желая войти, ломятся в двери; вдруг являешься

ты, полный винных паров, сбитый с толку неожиданным ночным мраком, и, вооруженный наподобие бесноватого Аякса, храбро обнажаешь свой меч; да только Аякс, напав на живой скот, перерезал целое стадо, а ты куда храбрее – ведь под твоими ударами испустили дух три надутых козьих бурдюка, так что в объятиях у меня находится сразивший врагов без единой капли крови не человекоубийца, а бурдюкоубийца.

19. Милая речь Фотиды развеселила меня, и я отвечаю шутливо:

– Так, значит, и сам я могу первое это проявление доблести, покрывшее меня славой, считать за один из двенадцати подвигов Геркулеса, сравнивая с трехтелым Герионом или с трехглавым Цербером такое же точно число погубленных бурдюков! Но, для того чтобы я искренне и от всей души простил тебе весь твой проступок, навлекший на меня столько неприятностей, исполни заветнейшее мое желание и покажи мне, как твоя хозяйка занимается этой божественной наукой. Я хочу увидеть хоть что-нибудь: как она призывает богов, как, по крайней мере, приготовления делает – до всего, что касается магии, я страстный охотник. Впрочем, ты и сама мне кажешься в этих делах не новичком, а человеком опытным. Знаю это и отлично чувствую, ведь прежде я всегда презирал женские объятия, а ты меня этими сверкающими глазками, румяными щечками, блестящими кудрями, сочными поцелуйчиками и душистыми грудками забрала в неволю и держишь в рабстве, хотя и желанном. Я уже и к домашнему очагу не стремлюсь, и к отъезду не делаю приготовлений, и такой вот ночи ни на что не променяю.

20. – Как бы я хотела, Луций, – отвечает она, – сделать для тебя то, чего ты желаешь, но, не говоря уже о подозрительном ее характере, такого рода тайными вещами занимается она обыкновенно в полном уединении, недоступная ничьим взорам. Но твоя просьба дороже мне собственной безопасности, и при первом же удобном случае я постараюсь исполнить ее; однако, как я сказала вначале, ты должен хранить нерушимое молчание об этом столь важном деле.

Пока мы так щебетали, у обоих в душе и теле проснулось желание. Сбросив все одежды, раздевшись догола, совсем нагие, мы предались неистовствам Венеры; при этом, когда я уже утомился, Фотида по собственной щедрости наградила меня отроческой надбавкой; глаза наши от бдения сделались томными, и напавшее забытье продержало нас до белого дня.

Наблюдение Луция и Фотиды за превращением Памфилы в сову

21. Немного провели мы сладостных ночей в таком же роде, как вдруг в один прекрасный день прибегает ко мне взволнованная, вся в трепете Фотида и докладывает, что госпожа ее, которой никакие чары до сих пор не оказали помощи в ее любовных делах, сегодня ночью будет обращаться в птицу и в таком виде полетит к своему желанному. Итак, мне самому надлежит как следует приготовиться к наблюдению за столь редким делом. И вот около первой стражи ночи она на цыпочках, неслышными шагами ведет меня к тому чердаку и велит смотреть через какую-то щелку в двери. А происходило все так. Перво-наперво Памфила сбрасывает с себя все одежды и, открыв какую-то шкатулку, достает оттуда множество ящичков, снимает крышку с одного из них и, набрав из него мази, сначала долго растирает ее между ладонями, потом смазывает себе все тело от кончиков ногтей до макушки, долгое время шепчется со своей лампой и начинает сильно дрожать всеми членами. И пока они слегка содрогаются, их покрывает нежный пушок, вырастают и крепкие перья, нос загибается и твердеет, появляются кривые когти. Памфила обращается в сову. Испустив жалобный крик, вот она уже пробует свои силы, слегка подпрыгивая над землей, а вскоре, поднявшись вверх, распустив оба крыла, улетает.

22. Но она-то силою магического своего искусства, по собственному желанию переменила свой образ, а я, никаким заклятием не зачарованный и лишь окаменев от удивления перед только что происшедшим, казался самому себе кем угодно, но не Луцием; почти лишившись чувств, ошеломленный до потери рассудка, грезя наяву, я долго протирал глаза, стараясь убедиться, что не сплю. Наконец, придя в себя и вернувшись к действительности, схватываю руку Фотиды и, поднося ее к своим глазам, говорю:

– Не откажи, умоляю тебя, пока случай нам благоприятствует, дать мне великое доказательство исключительного твоего расположения и удели мне капельку этой мази. Заклинаю тебя твоими грудками, медовенькая моя, неоплатным этим благодеянием навеки рабом своим меня сделай и так устрой, чтобы стал я при тебе, Венере моей, Купидоном крылатым!

– Скажите, пожалуйста, – говорит, – какой хитрец у меня любовничек, хочет, чтобы я сама себе ноги топором рубила! И так-то я тебя, беззащитного, с трудом

оберегаю от фессалийских девок, а тут станешь птицей, где я тебя найду? Поминай как звали!

23. – Да спасут меня небожители от такого преступления, – говорю, – чтобы я, будь я самим орлом и облетай высокими полетами все небо, как испытанный вестник или гордый оруженосец вышнего Юпитера, все-таки не прилетел сразу же обратно в свое гнездышко, удостоившись таких крылатых почестей. Клянусь этим сладким завиточком твоих локонов, которым душу мою ты опутала, что нет никого на свете, кого бы я предпочел моей Фотиде. Вот еще что мне сейчас пришло в голову: как только от этой мази я обращусь в подобную птицу, придется мне держаться подальше от всяких домов. Что за радость, в самом деле, матронам от такого красивого, такого веселого любовника, как сова? Разве не видим мы, как ночных этих птиц, если они залетят в чей-нибудь дом, усердно ловят и пригвождают к дверям, чтобы несчастие, которым грозит семье их зловещий полет, искупали они своими мучениями. Но вот о чем я совсем позабыл спросить: что надо произнести или сделать, чтобы, сбросив это оперение, я снова мог сделаться самим собою, Луцием?

– Насчет этого не беспокойся, – отвечает, – мне госпожа показала все средства, которые способны каждое из таких животных снова обратить в человеческий вид. Не думай, что она сделала это из какого-нибудь расположения ко мне, нет, – для того только, чтобы, когда она возвращается домой, я могла оказывать ей необходимую помощь. В конце концов смотри, какими простыми и ничтожными травками достигается такая важная вещь: кладут в ключевую воду немного укропа с лавровыми листьями и дают для омовения и для питья.

24. Повторив это наставление много раз, она, вся в трепете, бросилась в комнату и вынула из шкатулки ящичек. Схватив его и облобызав, я сначала умолял его даровать мне счастливые полеты, а потом поспешно сбросил с себя все одежды и, жадно запустив руку, набрал порядочно мази и натер ею члены своего тела. И, уже помахивая то одной, то другой рукой, я старался подражать движениям птицы, но ни малейшего пушка, нигде ни перышка, только волосы мои утолщаются до шерсти, нежная кожа моя грубеет до шкуры, да на конечностях моих все пальцы, потеряв разделение, соединяются в одно копыто, да из конца спинного хребта вырастает большой хвост. Уж лицо огромно, рот растягивается, и ноздри расширяются, и губы висят, к тому же и уши непомерно увеличиваются и покрываются шерстью. И ничего утешительного в злосчастном превращении моем я не видел, если не считать того, что мужское естество мое увеличилось, хотя я и был лишен возможности обладать Фотидой.

25. И пока без всякой надежды на спасение я осматриваю все части моего тела и вижу себя не птицей, а ослом, хочется мне пожаловаться на поступок Фотиды, но, уже лишенный человеческих движений, как и голоса, делаю я единственное, что могу: свесив нижнюю губу и искоса посматривая глазами, все еще по-человечески увлажненными, молча взываю к ней. А та, как только увидела меня в таком образе, безжалостно ударила себя руками по щекам и воскликнула:

– Погибла я, несчастная! Волнение мое и торопливость меня обманули, ввело в заблуждение и сходство коробочек. Хорошо еще, что средство против такого превращения легко раздобыть. Ведь стоит только пожевать тебе розы – и сбросишь вид осла, и тотчас снова обратишься в моего Луция. Почему я с вечера, по своему обыкновению, не припасла для нас каких-нибудь веночков, – тебе бы и ночи одной не пришлось ждать! Но чуть начнет светать – тут же будет тебе лекарство.

26. Так она горевала, я же, хотя и сделался заправским ослом и из Луция обратился во вьючное животное, тем не менее сохранял человеческое соображение. Итак, я долго и основательно раздумывал, не следует ли мне забить твердыми копытами и закусать до смерти эту негоднейшую и преступнейшую женщину. Но от безрассудного этого замысла удержало меня более здравое рассуждение: ведь, покарав Фотиду смертью, я тем самым лишил бы себя всякой надежды на спасительную помощь. И вот встряхиваю я низко понуренной головою и, молча перенося свое временное унижение, покорствуя жестокой моей беде, отправляюсь к своему коню, верному моему слуге, в конюшню, где нахожу еще другого осла, принадлежащего Милону, бывшему моему хозяину. И я полагал, что если существуют между бессловесными животными какие-нибудь тайные и природные обязательства чести, то мой конь, узнав меня и пожалев, должен будет оказать мне гостеприимство и принять как знатного чужестранца. Но, о Юпитер страннoприимный и ты, о сокровенное божество Верности! Славный носитель мой вместе с ослом сдвигают морды, сговариваясь погубить меня, и в страхе, конечно, за свой корм, едва только видят, что я приближаюсь к яслям, прижав уши от ярости, принимаются лягать меня. И отогнан я был прочь от ячменя, который вчера собственными руками насыпал этому благодарнейшему из слуг.

27. Так-то встреченный и отвергнутый, остался я в одиночестве и отошел в угол конюшни. Покуда я размышляю о наглости моих товарищей и придумываю, как на следующий день, превратившись с помощью роз снова в Луция, отомщу неверному своему коню, вдруг вижу на среднем столбе, который поддерживал

балки конюшни, на самой почти середине, изображение богини Эпоны, поставленное в нише и заботливо украшенное совсем свежими гирляндами из роз. Увидав средство к спасению, окрыленный надеждой, оперся я, как только мог, вытянутыми передними ногами, твердо встал на задние и, задрав голову, выпятив сверх всякой меры губы, изо всех своих сил старался добраться до гирлянд. Но, на мое несчастье, слуга мой, которому поручен был постоянный уход за лошадью, неожиданно заметив мою затею, вскочил возмущенный.

– Долго еще, – говорит, – будем мы терпеть эту клячу? Только что корм у скота отнимал, а теперь уже за изображение богов принялся. Я тебя, святотатец, так отделаю, что захромаешь у меня, калекой станешь!

И сейчас же принялся искать, чем бы меня отколотить; под руку попалась ему связка поленьев, случайно лежавшая здесь; выбрав дубину покрупнее, покрытую листьями, он до тех пор не переставая лупил меня, несчастного, пока снаружи не поднялся страшный шум, в двери начали громко стучаться, по соседству раздался испуганный крик: «Разбойники!» – и он со страху убежал.

28. Не прошло и минуты, как шайка разбойников, выломав ворота, все собой наполняет, все помещение окружено вооруженными людьми, и прибегающие с разных сторон на помощь везде наталкиваются на врага. У всех в руках мечи и факелы, разгоняющие ночной мрак; оружие и пламя сверкают, как восходящее солнце. Тут какую-то кладовую, на крепкие запоры закрытую и замкнутую, устроенную в самой середине дома и наполненную сокровищами Милона, ударами крепких топоров взламывают. Ворвавшись в нее с разных сторон, они второпях вытаскивают все добро и, завязав узлы, делят между собою поклажу, но количество ее превышает число носильщиков. Тут, доведенные до крайности крайним обилием богатства, они выводят из конюшни нас, двух ослов и моего коня, навьючивают на нас как можно больше узлов потяжелее и палками гонят нас из дома, уже обобранного дочиста; и, оставя одного из своих товарищей соглядатаем, чтобы он сообщил им о расследовании этого преступления, они, осыпая нас ударами, быстро гонят в горы по непроходимым дорогам.

29. Я был скорее мертв, чем жив, от тяжести такой поклажи, от крутизны высокой горы и продолжительности пути. Тут мне хоть и поздно, да зато всерьез пришло в голову обратиться к помощи гражданских властей и, воспользовавшись почитаемым именем императора, освободиться от стольких невзгод. Наконец, когда уже при ярком свете солнца мы шли через какое-то многолюдное село, где по случаю базарного дня было большое скопление

народа, я в самой гуще толпы на родном языке греков попытался воззвать к имени божественного Цезаря, но возгласил громко и отчетливо только «о», а остальных букв из имени Цезаря не мог произнести. Разбойникам пришелся не по душе мой дикий крик, и они так отделали мою несчастную шкуру, что она больше не годилась даже на решето. Тем не менее сам Юпитер послал мне неожиданное спасение. Пока мы проезжали мимо, во множестве встречавшихся деревенских домишек и больших поместий заметил я какой-то славный садик, где меж других приятных растений цвели девственные розы, влажные от утренней росы. Жадно разинув рот и окрыленный радостной надеждой на избавление, я подошел поближе и уже тянусь к ним трясущимися губами, как вдруг меня остановила гораздо более здравая мысль: если я вдруг сейчас из осла превращусь в Луция, гибель моя от рук разбойников неизбежна, так как они или заподозрят во мне колдуна, или обвинят в намерении донести на них. Итак, в силу одной только необходимости, я покуда воздержался от роз и, смиряясь с настоящим положением вещей, пощипал, как подобало ослу, сухой травки.

Книга четвертая

1. Время приближалось к полудню, и солнце пекло уже неистово, когда мы завернули в одной деревне к каким-то старым людям, водившим с разбойниками знакомство и дружбу. Хотя и был я ослом, мне это сделалось ясным из того, как их встретили, из бесконечных разговоров и взаимных лобзаний. И в самом деле, сняв с моей спины кое-какую поклажу, они подарили им ее и таинственным перешептыванием, по-видимому, объяснили, что это их часть в разбойничьей добыче. Вскоре нас освободили от всех навьюченных мешков и отпустили пастись на соседний луг. Делить пастбище с ослом или моею лошадью не представлялось привлекательным мне, не привыкшему еще к тому же завтракать высохшей травой. Но, погибая от голода, я смело отправляюсь в замеченный мною тут же за хлевом огородик, там досыта, хотя и сырыми овощами, набиваю желудок и, призвав на помощь всех богов, начинаю внимательно осматриваться и оглядываться по сторонам, не увижу ли где-нибудь в соседнем саду прекрасного куста роз. Сама уединенность места внушила мне благую уверенность, что в одиночестве, скрытый кустарником, приняв лекарство, из согбенного положения четвероногого вьючного животного, никем не наблюдаемый, восстану я снова, выпрямившись, человеком.

2. Итак, пока я плавал в море этих соображений, вижу немного поодаль тенистую долинку с густою рощей, где среди разных растений и веселой зелени выделялся алый цвет сверкающих роз. Уже считал я в своем, не совсем еще озверевшем сердце, что Венере и Грациям посвящена эта чаша, под таинственной тенью которой сияет царственный блеск праздничного цветка. Тут, воззвав к радостной и благоприятной Удаче, пускаюсь я полным галопом, так что, клянусь Геркулесом, почувствовал себя не ослом, а беговым скакуном необыкновенной резвости. Но проворная и славная эта попытка не смогла переспорить жестокую мою судьбу. Приблизившись уже к месту, не нахожу тех нежных и прелестных роз, от божественной росы и нектара влажных, счастливыми, благословенными колючими кустами порождаемых, да и вообще никакой долинки, а вижу только край речного берега, поросшего частыми деревьями. Деревья эти, густо покрытые листьями вроде лавров, украшены будто душистыми цветами, удлиненными чашечками умеренно алого цвета, совсем лишенными запаха, которые простые крестьяне по-своему называют лавровыми розами и вкушение которых смертельно для всякого животного.

3. Измученный такой неудачей, отказавшись от всякой надежды на спасение, я добровольно потянулся отведать этих ядовитых роз. Но покуда я не спеша готовлюсь сорвать их, какой-то юноша, как мне казалось, огородник, чьи овощи я все начисто уничтожил, узнав о такой потраве, прибежал в ярости с большой палкой и, набросившись на меня, начал дубасить так, что, наверное, заколотил бы до смерти, если бы я благоразумно не оказал сам себе помощи. Задрав круп вверх, я стал быстро лягать его задними ногами, и, когда тот, сильно избитый, повалился на косогор, я спасся бегством. Но тут какая-то женщина, по-видимому жена его, едва завидела сверху, что он повержен на землю и еле жив, сейчас же бросилась к нему с жалобными причитаниями, очевидно желая возбудить к себе сострадание для того, чтобы немедленно погубить меня. Действительно, все деревенские жители, встревоженные ее воплями, тут же сзывают собак и всячески науськивают их, чтобы те, разъярившись, бросились на меня и разорвали бы в клочья. Теперь уж я был уверен, что смерть недалека, когда увидел выпущенных на меня псов, таких огромных и в таком количестве, что с ними можно было бы на медведей и львов выходить; ввиду таких обстоятельств, я, отбросивши мысль о бегстве, скорой рысью возвращаюсь назад в конюшню, куда нас поставили. Тут они, с трудом удерживая собак, поймали меня и, привязав крепким ремнем к какому-то кольцу, без сомнения, снова избили бы до смерти, если бы желудок мой, сузившийся от болезненных ударов, переполненный теми грубыми овощами и страдающий быстрым истечением, не выпустил навоза целой струей и не отогнал их от моих уже пострадавших лопаток, одних – обрызгав отвратительной жидкостью, других – обдав

омерзительным запахом гнили.

4. Немного погодя, когда солнце после полудня уже стало склоняться к закату, наши разбойники, снова навьючив на нас, особенно на меня, еще более тяжелую поклажу, выводят нас из конюшни. Когда была уже пройдена добрая часть пути и, утомленный продолжительностью перехода, изнемогая под тяжестью груза, усталый от палочных ударов, сбив себе все копыта, хромая, шатаясь, дошел я до какой-то медленно змеившейся речки, как вдруг пришла мне в голову счастливая мысль воспользоваться удобным случаем, осторожно подогнуть колени и опуститься на землю с упорным намерением не вставать и не идти дальше, несмотря ни на какие удары; более того, я даже готов был умереть не только под палками, но и под ударами ножа. Полуживой и слабый, я, конечно, получу заслуженную отставку как инвалид, и разбойники, отчасти чтобы не задерживаться, отчасти чтобы ускорить свое бегство, переложат поклажу с моей спины на двух других вьючников, а меня, в виде высшего наказания, оставят в добычу волкам и коршунам.

5. Но столь прекрасному плану моему противостала злосчастная судьба. Другой осел, угадав и предвосхитив мою мысль, вдруг от притворной усталости со всеми пожитками рухнул наземь и остался лежать как мертвый, так что чем его ни толкали, палками, погонялками, как ни таскали во все стороны, за хвост, за уши, за ноги, поднять его никак не могли; тогда, утомившись и потеряв последнюю надежду, они поговорили между собою, что не стоит, возясь с мертвым, точно окаменелым, ослом, терять время, необходимое для бегства, распределяют мешки его между мною и лошадью, а его самого, надрезав ему все поджилки обнаженным мечом и стащив немного с дороги, с высочайшего обрыва в соседнюю долину, еще не потерявшего дыхания, низвергают. Пораздумав над участью несчастного моего товарища, решил я, отбросив всякие хитрости и обманы, служить хозяевам, как добронравный осел. Тем более что из их разговоров между собою я понял, что скоро будет нам стоянка и всему пути спокойный конец, так как там находится их постоянное местопребывание. Миновав некрутой подъем, прибыли мы наконец к месту назначения; там сняли с нас всю поклажу и спрятали внутрь пещеры, я же, освобожденный от тяжести, вместо купанья принялся кататься по пыли, чтобы отдохнуть от усталости.

6. Подходящее время и обстоятельства побуждают меня описать местность и пещеры, где обитали разбойники. Одновременно подвергну испытанию свое уменье и вас заставлю ясно почувствовать, был ли я ослом по уму и чувствам. Перед нами находилась ужасная гора, одна из самых высоких, поросшая

тенистыми лесными чащобами. Извилистые склоны ее, окруженные острыми и поэтому неприступными скалами, обвиты со всех сторон в виде естественного укрепления глубокими ущельями с провалами, сплошь заросшие кустарником. Берущий свое начало на самой вершине источник низвергался вниз пенистым потоком и, стекая по склону, вздымал серебристые волны; уже разделенный на множество ручейков, он орошал ущелья эти заболоченными водами и снова соединял их в некое подобие ограниченного берегами моря или медленной реки. Над пещерой, там, где был пролет между горами, высилась огромная башня; по обе стороны ее тянулся прочный палисад из крепкого плетня, удобный для загона овец; стены против входа тесно примыкали одна к другой, образуя узкий проход. Вот, скажешь, бьюсь об заклад, настоящий разбойничий атриум. И кругом никакого жилья, кроме маленькой хижины, как попало покрытой тростником, где, как потом я узнал, дозорные из числа разбойников, выбираемые по жребию, караулили по ночам.

7. Скорчившись, разбойники пролезли в проход по одному, привязали нас у самых дверей крепким ремнем и с бранью набросились на какую-то скрюченную под бременем лет старуху, на которой одной лежали, по-видимому, заботы об уходе за такой оравой парней:

– Ну ты, мертвец непогребенный, которого земля и не носит, и в себя не берет, так-то ты нас ублажаешь, сидя дома без дела? После столь великих и опасных трудов, в такой поздний час ты не можешь порадовать нас отдыхом? Только тебе и занятия, что денно и нощно ненасытную свою утробу неразбавленным вином с жадностью наливать.

Дрожа от страха, пронзительным голосишком старуха отвечает:

– Да для вас, молодчики мои верные, кормильцы мои молоденькие, вдоволь наварено всякой вкусной снеди, все готово: хлеба вволю, вино до краев в перетертые чаши налито, и горячая вода, как всегда, для мытья на скорую руку приготовлена.

После таких слов они сейчас же раздеваются и, пропотев голые перед большим огнем, обмывшись горячей водой и натершись маслом, садятся за стол, в изобилии приготовленный для пиршества.

Пир разбойников за накрытым в изобилии столом

8. Только что они расположились, как вдруг приходит другая, еще более многочисленная, орава парней, в которых мигом можно было узнать таких же разбойников. И эти тоже приволокли добычу из золотых и серебряных монет, посуды и шелковых одежд, затканных золотом. И эти, освежившись купаньем, занимают места на ложах среди товарищей, а прислуживанье за столом распределяется по жребию. Едят и пьют без всякого толка: кушанье целыми кусками, хлеб краюхами, вино ведрами. Не забава – крик, не пенье – оранье, не шутки – сквернословье, и вообще все похожи на фиванских лапифов полузверских и кентавров получеловеческих. Тут один из них, превосходивший остальных крепостью телосложения, сказал:

– Здорово мы разнесли дом Милона Гипатского. Не только множество добра доблестью нашей добыли, но и из строя у нас никто не выбыл, а лучше того – даже четырьмя парами ног больше нас стало, как мы домой пришли. А вы, что в беотийские города на промысел ходили, вернулись пощипанными, потеряв храбрейшего атамана нашего, самого Ламаха, за жизнь которого смело я отдал бы все тюки, что вы приволокли. Как-никак собственная отвага его погубила: среди знаменитых царей и полководцев будет прославлено имя такого мужа. А вам, добропорядочным воришкам, годным на жалкие рабские кражи, только бы трусливо по баням да старушечьим каморкам шарить, как тряпичникам.

9. Один из тех, что пришли позднее, возражает:

– Что ж, ты один только не знаешь, что чем богаче дом, тем легче его разграбить? Хоть и много там челяди в просторных покоях, но каждый больше о своем спасенье, чем о хозяйском добре, думает. Экономные же и одинокие люди маленькое, а иногда и вовсе не маленькое свое имущество запрятывают далеко, стерегут крепко и с опасностью для жизни защищают. Слова мои могут подтвердить примером. Как только пришли мы в Семивратные Фивы, сейчас же, как по нашему ремеслу полагается, стали усердно разузнавать, есть ли среди жителей богатые люди; не укрылся от нас некий меняла Хризерос, обладатель большого богатства, который во избежание налогов и повинностей общественных великими хитростями великое имущество свое скрывал. Запершись один-одинешенек в маленьком, но с крепкими запорами домишке,

оборванный, грязный, сидел он на своих мешках с золотом. Вот и решили мы на него первого сделать налет, так как, ни во что не ставя сопротивление одного человека, полагали, что без всяких хлопот, просто, завладеем всем его богатством.

10. Без промедления, как только стемнело, стали мы караулить у его дверей; снимать их с петель, сдвигать, взламывать было нам не с руки, так как двери были створчатые и стук перебудил бы всех соседей нам на беду. Итак, главарь наш, бесподобный Ламах, полагаясь на испытанную свою доблесть, осторожно просовывает руку в отверстие, куда вкладывают ключ, и старается отодвинуть засов. Но Хризерос, негоднейший из двуногих, давно уже не спал и слышал все, что происходит; упорно храня молчание, неслышными шагами потихоньку подкрался он и руку вожака нашего, неожиданно нанеся удар, большим гвоздем накрепко приколотил к дверной доске, потом, оставив его как бы в гибельных объятиях креста, сам вылез на крышу своей лачуги, а оттуда не своим голосом начал кликать на помощь всех соседей, называя каждого по имени, и призывать к защите от общей опасности, распуская слух, что внезапный пожар охватил его дом. Тут каждый, испугавшись близкой беды, в тревоге бежит на подмогу.

11. Очутившись тут в двойной опасности – или всем погибнуть, или кинуть товарища, мы с его согласия прибегаем к решительному средству, вызванному обстоятельствами. Уверенным ударом посредине связок отрубив напрочь руку нашему главарю в том месте, где предплечье соединяется с плечом, и заткнув рану комком тряпок, чтобы капли крови не выдали наших следов, мы бросаем обрубок, где он был, а то, что осталось от Ламаха, проворно увлекаем за собою. Пока все кругом трепетало, а мы сильного шума и нависшей опасности страшились, муж этот возвышенный, исполненный духа и доблести, видя, что и следовать в бегстве за нами не может, и оставаться ему небезопасно, усердно нас убеждает, усердно молит, заклиная Марсовой десницей и верностью слову, освободить доброго товарища по оружию от мук и от плена. Да и как может жить порядочный разбойник, лишившись руки, что одна и режет и грабит? За счастье почел бы он пасть добровольно от товарищеской руки. Не будучи в состоянии никого из наших уговорами своими побудить к добровольному отцеубийству, обнажил он оставшейся рукою свой меч, долго его целовал и сильным ударом вонзил себе в самую середину груди. Тут мы, почтив мужество великодушного вождя нашего, закутали старательно останки его тела полотняным плащом и предали на сокрытие морю. Ныне покоится Ламах наш, погребенный всею стихиею.

12. Так он обрел кончину, достойную своей доблестной жизни.

И Алцим вот не мог ничего поделать, несмотря на изобретательность, с жестокой волей судьбы. Взломав дверь в какую-то лачужку, забрался он на верхний этаж, в спальню к спящей старухе, и, вместо того чтобы первым делом укокошить ее, свернув шею, начал из широкого окна наружу выбрасывать нам ее пожитки, одну вещь за другой, чтобы мы подбирали. Побросав лихо все пожитки, он не захотел дать спуску и постели, на которой лежала старушонка; итак, вытряхнув ее из кровати и вытащив из-под нее простыни, тем же путем намеревался их отправить, как негодница эта, упав ему в ноги, взмолилась: «Что ты, сынок, молю тебя, зачем ты жалкое тряпье и хлам несчастной старухи отдаешь богачам соседям, на чей двор это окно выходит?» Обманутый хитрою и притворною речью, Алцим поверил сказанному и, боясь, как бы, уже предупрежденный об ошибке, он не отдал чужим ларам, вместо своих товарищей, выброшенное им прежде, а также и то, что он собирался выбросить, высунулся из окна и стал внимательно осматриваться, прежде всего стараясь распознать, насколько зажиточны соседи, о которых говорила старуха. Пока он так усердно высматривал, не подозревая никакой беды, старуха эта пакостная, хоть и увечная была, быстрым и неожиданным толчком его, не соблюдавшего равновесия, свесившегося из окна и погруженного в осмотр, спихнула вниз головою. Кроме того, что высота была значительная, падая, угодил он на лежавший подле большущий камень, так что вдребезги переломал себе ребра, и, выблевывая из груди потоки крови, рассказал нам, что произошло, а потом, недолго промучившись, расстался с жизнью. По примеру первого погребения мы послали и его верного спутника вслед за Ламахом.

13. Осиротев от двух этих ударов и не решаясь долее пытать счастия в Фивах, мы направились в соседний город Платею. Там мы услышали много толков о некоем Демохаре, собиравшемся устроить бой гладиаторов. Он был мужем, знатнейшим по происхождению, богатейшим по состоянию, непревзойденным по щедрости, и старался, чтобы народное развлечение достойно было по блеску своему его богатства. У кого найдется столько изобретательности, столько красноречия, чтобы в подобающих выражениях описать различные стороны сложных приготовлений? Вот знаменитые по силе гладиаторы, вот и испытанного проворства охотники, а там преступники, осужденные на смерть, уготованные для откармливания диких зверей; сколоченные машины на высоких сваях, башни, построенные из соединенных одна с другой досок наподобие подвижного дома, украшенные яркою живописью, – прекрасные вместилища для участников предстоящей охоты. К тому же какое множество, какое разнообразие зверей! Он специально позаботился издалека привезти эти ходячие породистые

гробницы для осужденных преступников. Но из всех приготовлений к роскошному зрелищу больше всего поражало необыкновенное количество огромных медведей, которых он собирал, не жалея затрат, откуда только мог. Не считая тех, что захвачены были на его собственных охотах, не считая тех, что он покупал за хорошую цену, еще и друзья наперерыв дарили ему медведей различных мастей, и всех он тщательно кормил при великолепном уходе.

14. Но столь славное, столь блестящее приготовление к общественному развлечению не укрылось от пагубного ока Зависти. Утомленные долгим заточением, к тому же измученные летним зноем, вялые от продолжительной неподвижности и неожиданно пораженные заразной болезнью, медведи пали без малого все до одного, так что почти ни один из них не уцелел. Чуть ли не на каждой площади можно было увидеть полуживые туши, следы этого звериного кораблекрушения. Тогда простой народ, темная нищета которого побуждает его, не привередничая в выборе пищи, искать даровых блюд и не брезгать никакою гадостью для подкрепления своего отощавшего желудка, сбегается к появляющемуся повсюду провианту. Ввиду таких обстоятельств у меня и славного нашего Эвбула явился вот какой тонкий план. Мы уносим к себе в убежище, как будто для приготовления пищи, одну из самых больших туш; очистив аккуратно шкуру от мяса, искусно сохранив все когти и самую голову зверя оставив совсем нетронутой до начала шеи, кожу всю выскребаем старательно, чтобы сделать тонкой, и, посыпав мелкой золою, вытаскиваем на солнце для сушки. Пока кожа дубится от пламени небесного светила, мы тем временем до отвалу насыщаемся мясом и так распределяем обязанности в предстоящем деле, чтобы один из нас, превосходящий других не столько телесною силой, сколько мужеством духа, к тому же совершенно по доброй воле, покрывшись этой шкурой, уподобился медведице и, будучи нами принесен в дом к Демохару, открыл нам, при благоприятном ночном безмолвии, свободный доступ через двери дома.

15. Немало нашлось смельчаков из храброй шайки, которых привлекло исполнение этой искусной затеи, но общим голосованием из них другим предпочтен был Фразилеон, ему достался жребий на рискованное это предприятие. Вот он скрылся с веселым лицом в удобную шкуру, которая сделалась мягкой и гибкой. Тут самые края зашиваем мы тонкою бечевкой и, чтобы не видно было шва, хотя и без того он был еле заметен, напускаем на него густой мех со всех сторон. Не без труда протискиваем мы голову Фразилеона до самого горла зверя, туда, где перерезана была шея, и, проделав отверстия для дыхания против ноздрей и против глаз, сажаем храбрейшего нашего товарища, сделавшегося сущим животным, в купленную нами заранее по дешевке клетку,

куда он, не теряя присутствия духа, сам быстро вскочил. Окончив таким образом предварительные приготовления, мы занялись дальнейшим выполнением проделки.

16. Отыскавши имя некоего Никанора, который, происходя родом из Фракии, был связан священными узами дружбы с вышеупомянутым Демохаром, мы состряпали от его имени письмо, будто бы верный друг этот посылает первинки своей охоты в подарок для украшения празднества. Дождавшись, чтобы достаточно стемнело, под прикрытием мрака мы доставили Демохару клетку с Фразилеоном и наше подложное письмо; удивленный величиной зверя и обрадованный щедростью своего товарища, пришедшейся очень кстати, прежде всего отдает он приказ отсчитать нам, как он думал, посредникам в столь радостном деле, десять золотых из своей казны. Так как всякая новинка возбуждает в людях желание посмотреть на неожиданное зрелище, то сбежалось большое количество народа поглазеть на зверя, но наш Фразилеон угрожающими движениями неоднократно довольно ловко сдерживал их любопытство; граждане в один голос прославляют счастье и удачу Демохара, который после подобного падежа животных с новым этим пополнением сможет в какой-то степени спорить с судьбою.

И вот он отдает приказ сейчас же отправить со всевозможным тщанием зверя на свои, лежавшие под паром, земли. Тут я вмешиваюсь:

17. «Остерегись, – говорю, – господин, усталое от солнечного зноя и дальнего пути животное отсылать в стаю ко многим зверям, к тому же, как я слышал, не вполне здоровым. Не лучше ли здесь, около дома, найти для него место достаточно обширное, где было бы много воздуху, а еще лучше по соседству с каким-нибудь прудом, прохладное. Разве ты не знаешь, что эта порода всегда живет близ густых рощ, пещер сырых, приятных источников?»

Испуганный такими доводами и без труда с ним согласившийся, вспомнив о многочисленных потерях, Демохар охотно позволил поставить клетку, где нам заблагорассудится. «Мы и сами, – продолжаю, – готовы по ночам спать при этой клетке, чтобы усталому от зноя и тряски животному и пищу вовремя и питье, к которому он привык, как следует подавать». «Для этой службы в вас нет никакой надобности, – он отвечает, – почти вся прислуга у меня, благодаря длительной привычке, знакома с уходом за медведями».

18. После этого мы откланялись и ушли. Выйдя за городские ворота, видим мы какую-то усыпальницу, расположенную в стороне от дороги, в уединенном и скрытом от глаз месте. Там вскрываем наудачу, как вместилище будущей нашей добычи, несколько полусгнивших и обветшавших саркофагов, где покоились истлевшие и уже в прах обратившиеся тела усопших; затем, по заведенному в нашей шайке обычаю, дождавшись того часа ночи, когда не светит луна, когда навстречу идущий сон первым своим натиском с силой нападает на сердце смертных и овладевает ими, выстраиваем наш вооруженный мечами отряд, явившийся на грабеж, как будто по повестке, перед самыми воротами Демохара. Со своей стороны и Фразилеон, улучив воровской час ночи, выходит из клетки, сейчас же всех до единого мечом убивает сторожей, находящихся поблизости и объятых сном, наконец самого привратника и, вытащив ключ, распахивает ворота и указывает нам, быстро ворвавшимся и наполнившим весь дом, на кладовку, куда спрятано было, как он с вечера предусмотрительно заприметил, множество денег. Едва только общими усилиями немедленно ее взломали, я отдаю распоряжение, чтобы каждый из сотоварищей уносил, сколько может, золота и серебра, прятал его скорее в жилищах верных наших покойников и со всех ног возвращался за следующей порцией; я же для общего блага должен был один остаться у порога дома и за всем тщательно наблюдать, пока те не вернутся. Самый вид медведицы, снующей между зданиями, казалось, способен был навести страх, если бы кто из челяди оказался неспящим. Да и правда, всякий, будь он и храбр и смел, а все же, встретившись с такой звериной громадой, особенно ночью, тотчас пустился бы наутек и со страхом и дрожью заперся бы на засовы у себя в каморке.

19. Но всем этим правильным предположениям здравого рассуждения противостала жестокая неудача. Покуда я с нетерпением жду возвращения своих товарищей, какой-то захудалый раб, обеспокоенный шумом или по наитию проснувшийся, осторожно вылезает и видит, что зверь по всему помещению расхаживает свободно взад и вперед. Не проронив ни слова, раб этот возвращается вспять и всем в доме рассказывает, что он видел. Не прошло и минуты, как весь дом наполнился челядью, которой было немалое количество. От факелов, ламп, восковых и сальных свечей и прочих осветительных приспособлений мрак рассеивается. И не с голыми руками вышла эта толпа: у кого что – с кольями, с копьями, с обнаженными, наконец, мечами становятся они охранять входы. Не забыли пустить для облавы на зверя и свору охотничьих собак длинноухих, шерсть дыбом.

20. Шум все усиливается, и я помышляю уже обратно убежать восвояси, но, спрятавшись за дверью, смотрю, как Фразилеон чудесно отбивается от собак.

Достигший последних пределов жизни, не забыл он ни о себе, ни о нас, ни о прежней своей доблести, но защищался в самой пасти зияющей Цербера. Не покидая мужественно роли, добровольно на себя взятой, но, то убегая, то защищаясь различными поворотами и движениями своего тела, наконец выскользнул он из дому. Но и владея всем доступною свободою, не смог он в бегстве найти спасенья, так как все собаки из ближайшего переулка, достаточно свирепые и многочисленные, гурьбой присоединяются к охотничьей своре, которая тоже сейчас же вырвалась из дому и помчалась в погоню. Какое печальное и зловещее зрелище предстало глазам моим! Фразилеон наш окружен сворой свирепых собак, захвачен и раздираем многочисленными укусами. Не будучи в состоянии выносить такой скорби, я вмешиваюсь в шумную толпу народа и – единственное, чем могу я помочь, не выдавая себя, славному товарищу, – обращаюсь к начальникам облавы с такими увещеваниями: «Какое тяжелое и страшное преступление совершим мы, если погубим такого огромного и поистине драгоценного зверя».

21. Но несчастнейшему юноше мало принесли пользы мои хитрые речи: выбегает из дому какой-то здоровенный верзила и, не раздумывая, прямо под сердце поражает медведицу копьем, за ним другой, и, наконец, многие, оправившись от страха и подойдя поближе, наперерыв наносят раны мечом. Итак, Фразилеон, честь и украшение шайки нашей, потерял свою жизнь, достойную бессмертия; не утратив своего терпения, не нарушив священной клятвы ни единым криком, ни единым воплем, раздираемый уже зубами, пораженный оружием, отвечал он на случившуюся беду, переносимую с благородной стойкостью, лишь глухим воем да звериным рычаньем и отдал душу року, оставив по себе славу. Однако он нагнал такой страх и такой ужас на все это сборище, что до рассвета, даже до бела дня не нашлось такого смельчака, который хотя бы пальцем дотронулся до уже поверженного зверя, пока наконец медленно и робко не подошел какой-то немного осмелевший мясник и, вспоров брюхо зверя, не обнаружил в медведице доблестного разбойника. Так потерян был для нас Фразилеон, но не потерян для славы.

Мы же немедленно, увязав добычу, что сохранили для нас верные покойники, спешным маршем покинули платейские пределы, и не раз приходила нам в голову такая мысль: немудрено, что не находим мы в жизни этой никакой верности, когда она, гнушаясь коварством нашим, перекочевала к душам усопших и к покойникам. Вот, вконец измучившись от тяжести поклажи и трудности пути, потеряв трех товарищей, приносим мы добычу, которую вы видите.

22. По окончании этой речи в память усопших соратников совершают возлияния из золотых чаш неразбавленным вином, потом, усладив себя несколькими песнями в честь Марса, немного успокаиваются. Что касается нас, то знакомая наша, вышеупомянутая старуха, засыпала нам свежего ячменю не скупясь, свыше меры, так что конь мой, получив всю эту массу в исключительное свое пользование, мог вообразить себя на пиру салиев. Я же, который до сих пор признавал ячмень только мелко размолотым и хорошо разваренным, стал шарить по углам, где была свалена целая куча хлебных корок, оставшихся от разбойничьих трапез, и пустил в ход свою глотку, уже запекшуюся от долгой голодовки и начавшую покрываться паутиной. Глубокою ночью разбойники просыпаются, снимаются с места и, по-разному перерядившись, кто вооружившись мечами, кто переодевшись в лемуров, спешным маршем удаляются. Я же продолжал настойчиво и жадно есть, так что даже одолевающий меня сон не мог меня оторвать от еды. Прежде, когда я был еще Луцием, удовлетворившись одним или двумя хлебцами, я вставал из-за стола, теперь же, при столь глубоком желудке, я жевал уже третью корзину. К моему удивлению, белый день застал меня за этим занятием.

23. Наконец-то, руководимый ослиной стыдливостью, но с трудом оторвавшись от своего дела, утоляю я жажду в соседнем ручье. Немного прошло времени, как возвращаются и разбойники, необычайно обеспокоенные и озабоченные, не неся никакого узла, никакой хотя бы ничтожной рухляди, а приволакивают общими усилиями всей шайки, со всеми ее мечами, всеми готовыми к делу руками, всего-навсего одну девушку благородного происхождения, судя по чертам лица, по наряду – высшего сословия, девицу, способную, клянусь Геркулесом, даже в таком осле, как я, возбудить желание, горюющую, рвущую на себе волосы и одежды. Как только привели они ее в пещеру, стараясь уговорить, чтоб не так убивалась, обращаются они к ней с такою речью:

– Жизнь и честь твоя в безопасности; потерпи немного, дай нам извлечь свою выгоду; нищета принуждает нас к такому занятию. А родители твои, как ни привязаны они к своим огромным богатствам, без промедления дадут нам подобающий выкуп за свое родное детище.

24. Но напрасно пытаются подобными россказнями утишить скорбь девушки. Куда там! Опустив голову на колени, плакала она без удержу. Тут они кликнули старуху и, поручив ей сесть рядом с девушкой и ласковым разговором как-нибудь утешить ее, сами отправляются по делам своего ремесла. Но девушка, несмотря на все старухины увещевания, не только не переставала плакать, но

все громче причитала; тело ее сотрясалось от непрерывных рыданий, так что меня даже прошибла слеза. А она так восклицает:

– О, я, несчастная, из такого дома, такого семейства, лишенная стольких слуг дорогих, столь драгоценных родителей, добыча грабежа злосчастного, пленницей сделавшись, в каменную эту тюрьму, как рабыня, заключенная, со всеми утехами, для которых рождена была, в которых воспитана, разлученная, в жизни не уверенная, в вертепе убийственном, среди толпы жестоких разбойников, среди оравы головорезов ужасных – как могу я прекратить свои слезы, да и жить-то как сумею дальше?

Окончив жалобы эти, истощенная душевной скорбью, напряжением горла и усталостью тела, она сомкнула томные глаза и заснула.

25. Но ненадолго смежила она глаза; от сна неожиданно пробужденная новым припадком безумной скорби, еще сильнее запричитала и даже руками буйными в грудь себя начала ударять и по прекрасному лицу наносить удары, а когда старушонка настойчиво стала расспрашивать, с чего она заново начала убиваться, та, глубоко вздохнув, отвечала:

– Ах, теперь уже наверно, теперь уже бесповоротно погибла я, от всякой надежды на спасение отказалась. Сомнений нет: остается искать мне петли, меча или, наконец, пропасти.

На это старуха рассердилась и с грозным лицом потребовала, чтобы та объяснила ей, чего это, пропади она пропадом, она плачет и чего ради, успокоившись было, снова вдруг принялась за неумеренные жалобы.

– По всему видно, – говорит, – ты решила парней моих выгоды от выкупа за тебя лишить. Будешь так дальше продолжать, так я не погляжу на эти твои слезы, которые у разбойников дешево стоят, живьем тебя сжечь сумею.

26. Устрашенная такою речью, девушка осыпает поцелуями ее руки и говорит:

– Пощади, родимая, вспомни о жалости человеческой и в жестокой беде моей помоги мне немножечко. Не совсем же, как я полагаю, в тебе, дожившей в долгий свой век до святых седин, жалость иссякла. Взгляни же наконец на картину моих бедствий. Есть юноша редкой красоты, меж сверстниками первый,

которого весь город единодушно выбрал в приемные сыновья, к тому же приходится он мне двоюродным братом, только на три годочка старше меня; с младенческих лет он воспитывался и рос вместе со мною, живя в одном доме, даже комната одна у нас была, одно ложе, связаны мы с ним взаимным чувством чистой любви, и давно уже назначен был он мне в нареченные обручальным обрядом, с соизволения родителей, даже записан он как мой муж. Уже приносил он предсвадебные жертвы, окруженный густою толпою знакомых и близких, по храмам и общественным местам; весь дом украшен лаврами, блестит от факелов, звенит свадебными песнями; тут мать несчастная, прижав меня к своей груди, украшает, как подобает, венчальным убором и, неоднократно осыпая сладкими поцелуями, уже лелеет в тревожных думах надежду на будущее потомство, как вдруг внезапно происходит набег головорезов, грозный, подобно войне, зловеще сверкают обнаженные лезвия; но стремятся они не к убийству, не к грабежу, а тесным, сомкнутым строем прямо нападают на нашу спальню. Никто из наших домашних не оказал сопротивления, даже защищаться не осмелился, и меня, несчастную, лишившуюся чувств от страха, трепещущую от грозного ужаса, похищают, оторвав от материнского лона. Так была расстроена и расторгнута свадьба, словно у Аттиса или Протезилая.

27. Но вот жестокий сон возобновил и даже усугубил мое несчастье: приснилось мне, будто, грубо отторгнутая из дому, из брачных покоев, из спальни даже, влекомая по непроходимым пустыням, по имени зову я несчастнейшего супруга, а он, так и не изведав моих объятий, но уже овдовев, еще влажный от умащений, с венком на голове бежит следом за мною, увлекаемою в бегство другими. Пока он яростным криком сетует на похищение прекрасной супруги и взывает к народу о помощи, какой-то из разбойников, возмущенный дерзким преследованием, схватив с земли огромный камень, бедняжку молоденького, супруга моего, насмерть им поражает. При виде такой жестокости я пришла в ужас и в страхе от зловещего сна пробудилась.

Тут, на слезы ее ответив вздохами, старуха начала так:

– Не тревожься, моя хозяюшка, и не пугайся пустых призраков сна. Не говоря о том, что образы дневного сна считаются ложными, но и ночные сновидения иногда предвещают обратное. В конце концов слезы, побои, иногда и смерть означают удачное и выгодное следствие, а наоборот, смеяться, сладкими кушаньями желудок набивать или любовной страстью наслаждаться предвещает печаль душевную, телесную слабость и прочие неприятности в будущем. Давай лучше я тебя потешу хорошенько сказкой, баснями

старушечьими, – и начала:

28. – Жили в некотором государстве царь с царицею. Было у них три дочки-красавицы, но старшие по годам хотя и были прекрасны на вид, все же можно было поверить, что найдутся у людей достаточные для них похвалы, младшая же девушка такой была красоты чудной, такой неописанной, что и слов-то в человеческом языке, достаточных для описания и прославления ее, не найти. Так что многие из местных граждан и множество иноземцев, которых жадными толпами собирала молва о необычайном зрелище, восхищенные и потрясенные недосягаемой красой, прикрывали рот свой правою рукою, положив указательный палец на вытянутый большой, словно они самой богине Венере священное творили поклонение. И уже по ближайшим городам и смежным областям пошла молва, что богиня, которую лазурная глубина моря породила и влага пенистая волн воздвигла, по своему соизволению являет повсюду милость, вращается в толпе людей или же заново из нового семени светил небесных не море, но земля произвела на свет другую Венеру, одаренную цветом девственности.

29. Такое мнение со дня на день безмерно укреплялось, и растущая слава по ближайшим островам, по материкам, по множествам провинций распространялась. Толпы людей, не останавливаясь перед дальностью пути, перед морскою пучиною, стекались к знаменитому чуду. Никто не ехал в Пафос, никто не ехал в Книд, даже на самое Киферу для лицезрения богини Венеры никто не ехал; жертвоприношения стали реже, храмы заброшены, священные подушки раскиданы, обряды в пренебрежении, не украшаются гирляндами изображения богов, и алтари вдовствуют, покрытые холодною золою. К девушке обращаются с мольбами и под смертными чертами чтят величие столь могущественной богини; когда поутру дева появляется, ей приносят дары и жертвы во имя отсутствующей Венеры, а когда она проходит по площадям, часто толпа ей дорогу усыпает цветами и венками.

Чрезмерное перенесение божеских почестей на смертную девушку сильно воспламенило дух настоящей Венеры, и в нетерпеливом негодовании, потрясая главой, так в волнении она себе говорит:

30. «Как, древняя матерь природы! Как, родоначальница стихий! Как, всего мира родительница, Венера, я терплю такое обращение, что смертная дева делит со мною царственные почести и имя мое, в небесах утвержденное, оскверняется земною нечистотою? Да неужели я соглашусь делить сомнительные почести со

своей заместительницей, принимающей под моим именем искупительные жертвоприношения, и смертная девушка будет носить мой образ? Напрасно, что ли, пастырь пресловутый, суд и справедливость которого великий подтвердил Юпитер, предпочел меня за несравненную красоту столь прекрасным богиням? Но не на радость себе присвоила та самозванка, кто бы она ни была, мои почести! Устрою я так, что раскается она даже и в самой своей недозволенной красоте!»

Сейчас же призывает она к себе сына своего крылатого, крайне дерзкого мальчика, который, в злонравии своем общественным порядком пренебрегая, вооруженный стрелами и факелом, бегает ночью по чужим домам, расторгая везде супружества, и, безнаказанно совершая такие преступления, хорошего решительно ничего не делает. Его, от природной испорченности необузданного, возбуждает она еще и словами, ведет в тот город и Психею – таково было имя девушки – воочию ему показывает, рассказывает всю историю о соревновании в красоте; вздыхая, дрожа от негодования, говорит она ему:

31. «Заклинаю тебя узами любви материнской, нежными ранами стрел твоих, факела твоего сладкими ожогами, отомсти за свою родительницу. Полной мерой воздай и жестоко отомсти дерзкой красоте, сделай то единственное, чего мне больше всего хочется: пусть дева эта пламенно влюбится в последнего из смертных, которому судьба отказала и в происхождении, и в состоянии, и в самой безопасности, в такое убожество, что во всем мире не нашлось бы более жалкого».

Сказав так, она долго и крепко целует сына полуоткрытым ртом и идет к близлежащему краю омываемого морем берега; едва ступила она розовыми ступнями на влажную поверхность шумящих волн, как вот уже покоится на тихой глади глубокого моря, и едва только пожелала, как немедля, будто заранее приготовленная, показалась и свита морская: здесь и Нереевы дочери, хором поющие, и Портун со всклоченной синей бородой, и Салация, складки одежды которой полны рыбой, и маленький возница дельфинов Палемон; вот по морю здесь и там прыгают тритоны: один в звучную раковину нежно трубит, другой от враждебного солнечного зноя простирает шелковое покрывало, третий к глазам госпожи подносит зеркало, прочие на двухупряжных колесницах плавают. Такая толпа сопровождала Венеру, которая держала путь к Океану.

32. Между тем Психея, при всей своей очевидной красоте, никакой прибыли от прекрасной своей наружности не имела. Все любуются, все прославляют, но никто не является – ни царь, ни царевич, ни хотя бы кто-нибудь из простого народа, кто бы пожелал просить ее руки. Дивятся на нее, как на божественное явление, но все дивятся, как на искусно сделанную статую. Старшие две сестры, об умеренной красоте которых никакой молвы не распространялось в народе, давно уже были просватаны за женихов из царского рода и заключили уже счастливые браки, а Психея, в девах вдовица, сидя дома, оплакивает пустынное свое одиночество, недомогая телом, с болью в душе, ненавидя свою красоту, хотя она всех людей привлекала. Тогда злополучный отец несчастнейшей девицы, подумав, что это знак небесного неблаговоления, и страшась гнева богов, вопрошает древнейшее прорицалище – милетского бога – и просит у великой святыни мольбами и жертвами для обездоленной девы мужа и брака. Аполлон же, хотя и грек и даже иониец, из уважения к составителю милетского рассказа дает прорицание на латинском языке:

33.

Царь, на высокий обрыв поставь обреченную деву

И в погребальный наряд к свадьбе ее обряди;

Смертного зятя иметь не надейся, несчастный родитель:

Будет он дик и жесток, словно ужасный дракон.

Он на крылах облетает эфир и всех утомляет,

Раны наносит он всем, пламенем жгучим палит,

Даже Юпитер трепещет пред ним и боги боятся.

Стиксу внушает он страх, мрачной подземной реке.

Услышав ответ святейшего прорицателя, царь, счастливый когда-то, пускается в обратный путь недовольный, печальный и сообщает своей супруге предсказания зловещего жребия. Грустят, плачут, убиваются немало дней. Но ничего не поделаешь, приходится исполнять мрачное веление страшной судьбы. Идут уже приготовления к погребальной свадьбе злосчастнейшей девы, уже пламя факелов чернеет от копоти и гаснет от пепла, звук мрачной флейты переходит в

жалобный лидийский лад, и веселые гименеи оканчиваются мрачными воплями, а невеста отирает слезы подвенечной фатой. Весь город сострадает печальной участи удрученного семейства, и по всеобщему согласию тут же издается распоряжение об общественном трауре.

34. Но необходимость подчиниться небесным указаниям призывает бедненькую Психею к уготованной муке. Итак, когда все было приготовлено к торжеству погребального бракосочетания, трогается в путь в сопровождении всего народа, при общей скорби, похоронная процессия без покойника, и заплаканную Психею ведут не как на свадьбу, а как на собственное погребение. И когда удрученные родители, взволнованные такой бедой, медлили совершать нечестивое преступление, сама их дочка такими словами подбодряет их:

«Зачем долгим плачем несчастную старость свою мучаете? Зачем дыхание ваше, которое скорее мне, чем вам, принадлежит, частыми воплями утруждаете? Зачем бесполезными слезами лица, чтимые мною, пятнаете? Зачем темните мой свет в очах ваших? Зачем рвете седины? Зачем грудь, зачем сосцы эти священные поражаете ударами? Вот вам за небывалую красоту мою награда достойная! Поздно опомнились вы, пораженные смертельными ударами нечестивой зависти. Когда народы и страны оказывали нам божеские почести, когда в один голос новой Венерой меня провозглашали, тогда скорбеть, тогда слезы лить, тогда меня, как бы уже погибшую, оплакивать следовало бы. Чую, вижу, одно только название Венеры меня погубило. Ведите меня и ставьте на скалу, к которой приговорил меня рок. Спешу вступить в счастливый этот брак, спешу увидеть благородного супруга моего. Зачем мне медлить, оттягивать приход того, кто рожден всему миру на пагубу?»

35. Сказав так, умолкла дева и твердой уже поступью присоединилась к шествию сопровождавшей ее толпы. Идут к указанному обрыву высокой горы, ставят на самой ее вершине девушку, удаляются, оставив брачные факелы, освещавшие ей дорогу и тут же угасшие от потока слез, и, опустив головы, расходятся все по домам. А несчастные родители ее, удрученные такою бедою, запершись в доме, погруженные во мрак, предали себя вечной ночи. Психею же, боящуюся, трепещущую, плачущую на самой вершине скалы, нежное веяние мягкого Зефира, всколыхнув ей полы и вздув одежду, слегка подымает, спокойным дуновением понемногу со склона высокой скалы уносит и в глубокой долине на лоно цветущего луга, медленно опуская, кладет.

Книга пятая

1. Психея, тихо покоясь на нежном, цветущем лугу, на ложе из росистой травы, отдохнув от такой быстрой перемены в чувствах, сладко уснула. Вдосталь подкрепившись сном, она встала с легкой душой. Видит рощу, большими, высокими деревьями украшенную, видит хрустальные воды источника прозрачного. Как раз в самой середине рощи, рядом со струящимся источником, дворец стоит, не человеческими руками созданный, но божественным искусством. Едва вступишь туда, узнаешь, что перед тобою какого-нибудь бога светлое и милое пристанище. Штучный потолок, искусно сделанный из туи и слоновой кости, поддерживают золотые колонны; все стены выложены чеканным серебром с изображением зверей диких и других животных, словно устремившихся навстречу входящим. О, поистине то был удивительный человек, полубог, конечно, или, вернее, настоящий бог, который с искусством великого художника столько серебра в зверей превратил! Даже пол, составленный из мелких кусочков дорогих камней, образует всякого рода картины. Поистине блаженны, дважды и многократно блаженны те, что ступают по самоцветам и драгоценностям. И прочие части дома, в длину и ширину раскинутого, бесценны по ценности: все стены, отягченные массою золота, сияют таким блеском, что, откажись солнце светить, они сами залили бы дом дневным светом; каждая комната, каждая галерея, каждая даже створка дверная пламенеет. Прочее убранство не меньше соответствует величию дома, так что поистине можно подумать, будто великий Юпитер создал эти чертоги небесные для общения со смертными.

2. Привлеченная прелестью этих мест, Психея подходит ближе; расхрабрившись немного, переступает порог и вскоре с восхищенным вниманием озирает все подробности прекраснейшего зрелища, осматривая находящиеся по ту сторону дома склады, выстроенные с большим искусством, куда собраны великие сокровища. Нет ничего на земле, чего бы там не было. Но, кроме необычайности стольких богатств, было всего дивнее то, что сокровища целого мира никакой цепью, никаким засовом, никаким стражем не охранялись. Покуда она с величайшим наслаждением смотрела на все это, вдруг доносится до нее какой-то голос, лишенный тела: «Что, – говорит, – госпожа, дивишься такому богатству? Это все принадлежит тебе. Иди же в спальню, отдохни от усталости на постели; когда захочешь, прикажу купание приготовить. Мы, чьи голоса ты слышишь, твои рабыни, усердно будем прислуживать тебе, и как только приведешь себя в порядок, не замедлит явиться роскошный стол».

3. Психея ощутила блаженство от божественного покровительства и, вняв совету неведомого голоса, сначала сном, а затем купаньем смывает остаток усталости и, увидев тут же подле себя появившийся полукруглый стол, накрытый, как о том свидетельствовал обеденный прибор, для ее трапезы, охотно возлегает за него. И тотчас вина, подобные нектару, и множество блюд с разнообразными кушаньями подаются, будто гонимые каким-то ветром, а слуг никаких нет. Никого не удалось ей увидеть, лишь слышала, как слова раздавались, и только голоса имела к своим услугам. После обильной трапезы вошел кто-то невидимый и запел, а другой заиграл на кифаре, которой также она не видела. Тут до слуха ее доносятся звуки поющих многих голосов, и, хотя никто из людей не появлялся, ясно было, что это хор.

4. По окончании развлечений, уступая увещеваниям сумерек, отходит Психея ко сну. В глубокой ночи какой-то легкий шум долетает до ее ушей. Тут, опасаясь за девство свое в таком уединении, робеет она, и ужасается, и боится какой-либо беды, тем более что она ей неизвестна. Но вошел уже таинственный супруг и взошел на ложе, супругою себе Психею сделал и раньше восхода солнца поспешно удалился. Тотчас же голоса, дожидавшиеся в спальне, окружают заботами потерявшую невинность новобрачную. Так продолжалось долгое время. И по законам природы новизна от частой привычки приобретает для нее приятность, и звук неизвестного голоса служит ей утешением в одиночестве.

Меж тем родители ее старились в неослабевающем горе и унынии, а широко распространившаяся молва достигла старших сестер, которые всё узнали и быстро, покинув свои очаги, поспешили, мрачные и печальные, одна за другой, повидаться и поговорить со своими родителями.

5. В ту же ночь со своей Психеей так заговорил супруг – ведь только для зрения он был недоступен, но не для осязания и слуха: «Психея, сладчайшая и дорогая супруга моя, жестокая судьба грозит тебе гибельной опасностью, к которой, полагаю я, следует отнестись с особым вниманием. Сестры твои, считающие тебя мертвой и с тревогой ищущие следов твоих, скоро придут на тот утес; если услышишь случайно их жалобы, не отвечай им и не пытайся даже взглянуть на них, иначе причинишь мне жестокую скорбь, а себе верную гибель».

Она кивнула в знак согласия и обещала следовать советам мужа, но, как только он исчез вместе с окончанием ночи, бедняжка весь день провела в слезах и стенаниях, повторяя, что теперь она уж непременно погибнет, накрепко запертая в блаженную темницу, лишенная общения и беседы с людьми, так что

даже сестрам своим, о ней скорбящим, никакой помощи оказать не может и даже хоть краткого свидания с ними не дождется. Не прибегая ни к бане, ни к пище, ни к какому другому подкреплению, горько плача, отходит она ко сну.

6. Не прошло и минуты, как на ложе возлег супруг, появившийся немного раньше обыкновенного, и, обняв ее, еще плачущую, так ее вопрошает: «Это ли обещала ты мне, моя Психея? Чего же мне, твоему супругу, ждать от тебя, на что надеяться? И день и ночь, даже в супружеских объятиях, продолжается твоя мука. Ну, делай как знаешь, уступи требованиям души, жаждущей гибели. Вспомни только, когда придет запоздалое раскаяние, о серьезных моих увещеваниях».

Тогда она просьбами, угрозами, что иначе она умрет, добилась от мужа согласия на ее желание повидаться с сестрами, умерить их печаль и поговорить с ними. Так уступил супруг просьбам молодой своей жены; больше того, разрешил даже дать им в подарок, что ей захочется, из золотых украшений или драгоценных камней, неоднократно предупреждая при этом и подкрепляя слова свои угрозами, что если она, вняв гибельным советам сестер, будет добиваться увидеть своего мужа, то святотатственным любопытством этим она низвергнет себя с вершины счастья и навсегда впредь лишится его объятий. Она поблагодарила мужа и с прояснившимся лицом говорит: «Да лучше мне сто раз умереть, чем лишиться сладчайшего твоего супружества! Ведь кто б ты ни был, я люблю тебя страстно, как душу свою, и с самим Купидоном не сравняю. Но, молю тебя, исполни еще мою просьбу: прикажи слуге твоему Зефиру так же доставить сюда сестер моих, как он доставил меня. – И, запечатлев поцелуй для убеждения, ведя речь нежную, прильнув всем телом для соблазна, прибавляет к этим ласкам: – Медовенький мой, муженек мой, твоей Психеи нежная душенька!» Силе и власти любовного нашептывания против воли уступил муж и дал обещание, что все исполнит, а как только стал приближаться свет, исчез из рук супруги.

7. А сестры, расспросив, где находится утес и то место, на котором покинута была Психея, спешат туда и готовы выплакать себе глаза, бьют себя в грудь, так что на частые крики их скалы и камни откликаются ответным звуком. Несчастную сестру свою по имени зовут, пока на пронзительный вопль их причитаний, доносившихся с горы, Психея вне себя, вся дрожа, не выбежала из дому и говорит: «Что вы напрасно себя жалобными воплями убиваете? Вот я здесь, о ком вы скорбите. Прекратите мрачные крики, отрите наконец щеки, мокрые от продолжительных слез, раз в вашей воле обнять ту, которую вы

оплакиваете».

Тут, призвав Зефира, передает ему приказание мужа. Сейчас же, явившись на зов, он спокойнейшим дуновением доставляет их безопасным образом. Вот они уже обмениваются взаимными объятиями и торопливыми поцелуями, и слезы, прекратившиеся было, снова текут от радостного счастья. «Но войдите, – говорит, – с весельем под кров наш, к нашему очагу и утешьте с Психеей вашей скорбные души».

8. Промолвив так, начинает она и несметные богатства золотого дома показывать и обращает внимание их слуха на великое множество прислуживающих голосов; щедро подкрепляет их силы прекраснейшим купанием и роскошью стола, достойного бессмертных, так что в глубине их душ, досыта насладившихся пышным изобилием поистине небесных богатств, пробуждается зависть. Наконец одна из них с большой настойчивостью и любопытством принялась расспрашивать, кто же хозяин всех этих божественных вещей, кто такой и чем занимается ее муж? Но Психея, боясь нарушить супружеские наставления, не выдает сокровенной тайны, а наскоро придумывает, что он человек молодой, красивый, щеки которого только что покрылись первым пушком, главным образом занятый охотой по полям и горам; и чтобы при продолжении разговора случайно не нарушить принятого ею решения, нагрузив их золотыми вещами и ожерельями из драгоценных камней, тут же призывает Зефира и передает их ему для доставления обратно.

9. Когда приказание это было без замедления выполнено, добрые сестры по дороге домой, преисполняясь желчью растущей зависти, много и оживленно между собою толковали. Наконец одна из них так начала: «Вот слепая, жестокая и несправедливая судьба! Нравится тебе, чтобы, рожденным от одного и того же отца, одной матери, столь различный жребий выпал нам на долю! Нас, старших как-никак по возрасту, ты предаешь иноземным мужьям в служанки, отторгаешь от родного очага, от самой родины, так что вдали от родителей влачим мы жизнь изгнанниц; она же, самая младшая, последний плод уже утомленного чадородия, владеет такими богатствами и мужем божественным, а сама и пользоваться-то как следует таким изобилием благ не умеет. Ты видела, сестра, сколько в доме находится драгоценностей, какие сверкающие одежды, какие блестящие перлы, сколько, кроме того, под ногами повсюду разбросано золота. И если к тому же муж ее так красив, как она уверяет, то нет на свете более счастливой женщины. Может быть, как усилится привычка ее божественного мужа, укрепится привязанность, он и ее самое сделает богиней. Клянусь

Геркулесом, к тому идет дело! Так она вела себя, так держалась. Да, метит она на небо; богиней держится эта женщина, раз и невидимых служанок имеет, и самими ветрами повелевает. А мне, несчастной, что досталось на долю? Прежде всего муж в отцы мне годится, плешивее тыквы, телосложением тщедушнее любого мальчишки и все в доме держит на замках и запорах».

10. Другая подхватывает: «А мне какого мужа терпеть приходится? Скрюченный, сгорбленный от подагры и по этой причине крайне редко в любви со мной находящийся; большую часть времени растираю его искривленные, затвердевшие, как камень, пальцы и обжигаю эти тонкие руки мои пахучими припарками, грязными тряпками, зловонными пластырями, словно я не законная супруга, а сиделка, для работы нанятая. Видно, что ты, сестра, – я скажу открыто, что чувствую, – переносишь это с полным или даже рабским терпением. Ну, а что касается до меня, так я не могу больше выдержать, что такая блаженная судьба досталась на долю недостойной. Вспомни только, как гордо, как вызывающе вела она себя с нами, самое хвастовство это, неумеренно проявленное, доказывает надменность ее духа; потом от таких несметных богатств скрепя сердце бросила нам крошку и тотчас, тяготясь нашим присутствием, приказала удалить нас, выдуть, высвистать. Не будь я женщиной, перестань я дышать, если не свергну ее с вершины такого богатства. Если и тебя, что вполне естественно, возмутило это оскорбление, давай обе вместе серьезно посоветуемся и примем решение, что нам делать. Но подарки, которые мы принесли с собою, не будем показывать ни родителям, ни кому другому, также совсем не будем упоминать, что нам известно что-либо о ее спасении. Довольно того, что мы сами видели, чего бы лучше нам не видеть, а не то, чтобы нашим родителям и всему народу разглашать о таком ее благополучии. Не могут быть счастливы те, богатство которых никому не ведомо. Она узнает, что не служанки мы ей, а старшие сестры. Теперь же отправимся к супругам и к бедным, но вполне честным очагам нашим; не спеша и тщательно все обдумав, мы более окрепшими вернемся для наказания гордыни».

11. По душе пришелся злодейский план двум злодейкам; итак, спрятав все богатые подарки, выдирая себе волосы и царапая лицо, чего они и заслуживали, притворно возобновляют они плач. Затем, напугав родителей, рана которых снова открылась, полные безумия, быстро отправляются по своим домам, строя преступный, поистине отцеубийственный замысел против невинной своей сестры.

Меж тем неведомый Психее супруг снова убеждает ее в ночных своих беседах: «Видишь ли, какой опасности ты подвергаешься? Судьба издалека начала бой и, если очень крепких ты не примешь мер предосторожности, скоро лицом к лицу с тобой сразится. Коварные девки эти всеми силами готовят против тебя гибельные козни, и главная их цель – уговорить тебя узнать мои черты, которые, как я тебя уже не раз предупреждал, увидевши, не увидишь больше. Итак, если через некоторое время ламии эти негодные, полные злостных планов, придут сюда, – а они придут, знаю это, – то не говори им ни слова. Если же, по прирожденной простоте твоей и по нежности душевной, сделать этого ты не сможешь, то, по крайней мере, не слушай никаких речей про своего мужа и не отвечай на них. Ведь скоро семья наша увеличится, и детское еще чрево твое носит в себе новое дитя для нас, – божественное, если молчанием скроешь нашу тайну, если нарушишь секрет – смертное».

12. Психея при вести этой от радости расцвела и, утешенная божественным отпрыском, в ладоши захлопала, и славе будущего плода своего возвеселилась, и почтенному имени матери возрадовалась. В нетерпении считает она, как идут дни и протекают месяцы, дивится непривычному, неведомому грузу и постепенному росту плодоносного чрева от столь кратковременного укола. А те две заразы, две фурии гнуснейшие, дыша змеиным ядом, торопились снова пуститься в плаванье с преступной поспешностью. И снова на краткое время появляющийся супруг убеждает свою Психею: «Вот пришел последний день, крайний случай; враждебный пол и кровный враг взялся за оружие, снялся с лагеря, ряды выстроил, сигнал протрубил; уже с обнаженным мечом преступные сестры твои подступают к твоему горлу. Увы, какие бедствия грозят нам, Психея нежнейшая! Пожалей себя, пожалей нас и святою воздержанностью спаси дом, мужа, самое себя и нашего младенца от несчастья нависшей гибели. О, если бы тебе негодных женщин этих, которых после смертоубийственной ненависти к тебе, после попранной кровной связи непозволительно называть сестрами, не пришлось ни слышать, ни видеть, когда они, наподобие сирен, с высокого утеса будут оглашать скалы своими губительными голосами!»

13. Заглушая речь жалобными всхлипываньями, Психея отвечала: «Насколько знаю я, ты имел уже время убедиться в моей верности и неразговорчивости, теперь не меньшее доказательство дам я тебе душевной крепости. Отдай только приказание нашему Зефиру исполнить его обязанность и, в замену отказанного мне лицезрения священного лика твоего, позволь мне хоть с сестрами увидеться. Заклинаю тебя этими благовонными, по обе стороны спадающими кудрями твоими, твоими нежными, округлыми, на мои похожими ланитами, грудью твоей, каким-то таинственным огнем наполненной, – да узнаю я хоть в

нашем малютке черты твои! – в ответ на смиренные просьбы и мольбы нетерпеливые доставь мне радость обнять своих сестер и душу верной и преданной тебе Психеи утешь этим счастьем. Ни слова больше не спрошу я о твоем лице, самый мрак ночной мне уже не досаждает, так как при мне свет твой». Зачарованный речами этими и сладкими объятиями, супруг ее, отерев слезы ей своими волосами, обещал ей все исполнить и исчез, предупреждая свет наступающего дня.

14. А чета сестер, связанная заговором, не повидав даже родителей, прямо с кораблей проворно направляется к обрыву и, не дождавшись появления переносившего их ветра, с дерзким безрассудством бросается в глубину. Но Зефир, памятуя царские приказы, принял их, хоть и против воли, на свое лоно и легким дуновением опустил на землю. Они, не мешкая, сейчас же поспешным шагом проникают в дом, обнимают жертву свою, лицемерно прикрываясь именем сестер, и, под радостным выражением храня в себе тайник глубокого скрытого обмана, обращаются к ней со льстивой речью: «Вот, Психея, теперь уже ты не прежняя девочка, сама скоро будешь матерью. Знаешь ли ты, сколько добра ты носишь для нас в этом мешочке? Какой радостью все наше семейство обрадуешь? Для нас-то счастье какое, что будем нянчить это золотое дитятко! Если, как и следует ожидать, ребенок по красоте выйдет в родителей, наверно, Купидона ты на свет произведешь».

15. Так с помощью поддельной нежности они мало-помалу овладевают душою сестры. Как только они отдохнули с дороги на креслах и освежились горячими парами бани, она принялась угощать их в прекраснейшей столовой удивительными совершенными кушаньями и закусками. Велит кифаре играть – звенит, флейте исполнять – звучит, хору выступить – поет. Всеми этими сладчайшими мелодиями невидимые музыканты смягчали души слушателей. Но преступность негодных женщин не успокоилась и от мягкой нежности сладчайшего пения: направляя разговор к заранее обдуманной коварной западне, принимаются они с хитростью расспрашивать, кто ее муж, откуда родом, чем занимается. Она же, по крайней простоте своей забыв, что говорила прошлый раз, заново выдумывает и рассказывает, что муж ее из ближайшей провинции, ведет крупные торговые дела, человек уже средних лет, с редкой проседью. И, не задерживаясь на этом разговоре, снова нагружает их богатыми подарками и передает для отправления ветру.

16. Пока, поднятые спокойным дуновением Зефира, возвращаются они домой, так между собою переговариваются: «Что скажешь, сестрица, о такой

чудовищной лжи этой дурочки? То юноша, щеки которого покрыты первым пушком, то человек средних лет, у которого уже пробивается седина. Кто же он такой, что в столь короткий промежуток времени внезапно успел состариться? Не иначе, сестрица, или негодница это все наврала, или мужа в глаза не видела; что бы ни было правдой, прежде всего надо низвергнуть ее с высоты благополучия. Если она не знает лица своего мужа, – значит, вышла за какого-нибудь бога и готовится произвести на свет бога. А уж если она (да не случится этого!) прослывет матерью божественного ребенка, я тут же на крепкой петле повешусь. Однако вернемся к родителям нашим и, как начало тех речей, с которыми к Психее обратимся, сплетем подходящую ложь».

17. Так, воспламененные, поговорив надменно с родителями, усталые от бессонно проведенной ночи, ранним утром летят они к утесу и, оттуда с помощью обычного ветра быстро снесенные вниз, выжимают из глаз своих слезы и с такой хитростью начинают свою речь к сестре: «Счастливая, ты сидишь, не беспокоясь о грозящей тебе опасности, блаженная в неведении такой беды, а мы всю ночь напролет, не смыкая глаз, думали о твоих делах и горько скорбим о твоих бедствиях. Мы наверняка узнали и не можем скрыть от тебя, разделяя скорбь и горе твое, что тайным образом спит с тобою по ночам огромный змей, извивающийся множеством петель, шея у которого переполнена вместо крови губительным ядом и пасть разинута, как бездна. Вспомни предсказания пифийского оракула, что провозвестил тебе брак с диким чудовищем. К тому же многие крестьяне, охотники, поблизости охотившиеся, множество окрестных жителей видели, как он под вечер возвращался с пастбища и переправлялся вброд через ближайшую реку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/apuley_luciy/metamorfozy-ili-zolotoy-osel

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити